
I
марсель
Швоб



Salamandra P.V.V.

МАРСЕЛЬ
ШВОБ

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ

Собрание сочинений

Том I

Salamandra P.V.V.

Швоб М.

Крестовый поход детей. Пер. с франц. и предисл. Л. Троповского. Илл. Ж.-Г. Даланьеса и др. – (Собрание сочинений. Том I). – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 115 с., илл.

В первый том собрания сочинений видного французского писателя-символиста Марселя Швоба (1867-1905) вошла повесть «Крестовый поход детей», новелла «Деревянная звезда» и небольшая книга «Мимы». Произведения Швоба, мастера призрачных видений и эрудированного гротеска, предшественника сюрреалистов и Х. Л. Борхеса, долгие годы практически не издавались на русском языке, и настоящее собрание является первым значимым изданием с дореволюционных времен.



КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
ДЕТЕЙ

Л. Троповский

МАРСЕЛЬ ШВОБ
(1867-1905)

Критико-биографический
очерк

Марсель Швоб умер в 1905 году 37-и лет. Он происходил из старого еврейского раввинского рода. Воспитывался у своего дяди, известного ориенталиста Л. Кагена, заведовавшего Библиотекой Мазарини (при Академии Изящной словесности и надписей). Отец его был товарищем детства Флобера и членом литературного кружка, в состав которого входил, между прочим, Теофиль Готье; он работал с Бодлером над «Корсаром-Сатаной», но из-за недостатка средств бросил литературную деятельность; был учителем; потом десять лет шефом кабинета секретаря по иностранным делам при хедиве Египта, наконец, издавал политическую газету в Нанте. Так с детства Марсель был окружен живыми литературными традициями и веянием восточной жизни, которые сильно отразились на его творчестве. Одиннадцати лет он прочел бодлеровский перевод Эдгара По, а затем оригинал (он уже знал английский язык). С тех пор Эдгар По, рядом с Флобером и Готье, стал его духовным, литературным отцом. Немного спустя, мальчик поместил первую свою статью (о Жюле Берни) в газете своего отца. Потом он поступил в Лицей в Париже и готовился в Высшую нормальную школу (физико-математических и естественных наук), но безуспешно, так как больше читал книг по литературе, чем занимался науками. Потеряв надежду на поступление в Школу и отбыв военную службу (следы ее в некоторых его рассказах), он поступил на литературный факультет (Faculté de Lettres) в Сорбонну и блестяще окончил его. Потом изучал греческую палеографию в Школе высших наук и филологию. В то же время он занялся изучением простонародного жаргона (argot) и это привело его к исследованиям о жаргоне кокильяров*

---

* Братство Раковины: общество бандитов, нечто вроде итальянской каморры, к которому принадлежал Франсуа Виллон.
Вот конец характеристики Виллона: «Он жил в самых разнообразных обществах от герцогов, прокуроров до бандитов и бродячих клерков. Сложность подобной жизни, трудность принимать позы для этих разных обществ показывают, что Ф. В. не был наивной душой. Он обладал прекрасным литературным слотом. Это был великий поэт. В век,

15-го столетия и бродячем поэте Франсуа Виллоне; эти историко-литературные исследования, рядом с художественной и критической деятельностью, стали с тех пор главным интересом его жизни; его считают одним из лучших знатоков эпохи 14-го и 15-го столетий. Около того же времени (1891) он издает первый сборник рассказов-сказок «Двойное сердце» (Coeur Double), написанных под сильным влиянием Эдгара По, со стремлением изобразить и вызвать ужас загадочными, странными происшествиями. В 1893 году появляется второй сборник сказок: «Царь в золотой маске»*, в которых иногда чувствуется дух Флобера и где элемент ужаса смягчен жалостью и состраданием. В этом сборнике во всей своей прелести и богатстве кристаллизуется стиль Швоба. Потом следуют «Мимы» (1893), «Книга Монеллы» (1894), «Крестовый поход детей» (1896)** переведенные нами в этой книжке, «Вымышленные жизни» (1896)*** где Швоб реализует свою концепцию художественной биографии, которая имеет задачей между человеческими возможностями искать жизнь, которая была бы единственной отличной от всех других; не заботясь о верном изображении истинно существовавшего лица, художник творит из хаоса человеческих черт образы людей божественных, посредственных или преступных, не интересуясь их общими идеями, общим достоянием человечества. В этом духе он дает образы целого ряда людей, людей всех времен, всех народов, всех положений, интересовавших его только своим различием, своеобразием. Истинное и вымышленное (часто сказочное) так талантливо сплетено в этих жизнеописаниях и рассказано таким уверенно-эпическим тоном, что, говорят, многие знатоки-ученые были

когда сила, власть, смелость одни лишь имели какую-либо ценность, он был мал, слаб, робок. Но он владел искусством лжи. Если утонченность его души вытекала из извращенности, то из той же извращенности его родились и самые прекрасные из его стихов».

* «Le Roi au masque d’Or».

** «Mimes», «Le Livre de Monelle», «La Croisade des Enfants».

*** «Vies imaginaires» (существует в русском переводе).

обмануты некоторыми из них и приняли их за документальные биографий. В том же году появляется в свет сборник критических этюдов и предисловий ко всем перечисленным нами книгам, «Spicilège», полный оригинальных, часто блестящих мыслей и суждений. В 1899 году вышли «Врата грез» (художественное издание для библиофилов), «Легенда о Серлоне Уилтоне», наконец в 1903 г. «Нравы Диурналов, курс журнализма» (сатира на журналистов) и переводы Шекспира и Даниеля Дефо, его любимого писателя.

С 1896 года его стала точить тяжелая болезнь, и литературная его деятельность ослабела. Последнее время он читал лекций о Франсуа Виллоне в Школе высших наук и должен был получить кафедру в Сорбонне для тех же лекций. По возвращении из путешествия, к которому его принуждала болезнь, он скончался. Последней мечтою его была кафедра сравнительной литературы в Сорбонне.

Это был в совершенстве тип «homme des lettres», обладавший неизмеримой эрудицией, носивший в своей голове гигантскую библиотеку почти всех времен и народов. Наружно простой и внутренне сложный, с необычайно утонченным вкусом и нежной, мечтательно-поэтической душой, проницательной, иронической мыслью, он был далек от современной шумной уличной жизни, наружно сложной и в глубине такой простой и пустой. Если б, следуя его принципу мы захотели найти «единое», отличающее его от других подобных типов, нам кажется — это была бы его живая, трепетная душа, которая не только не потерялась среди тысячелетней бумажной груды и архивной пыли, а, напротив, сама оживляла, одухотворяла мертвый пергамент и музейные витрины.

—————

Швоба мало знает широкая публика Франции, почти столько же, сколько в России. Наше газетное и автомо-

бильное время не любит таких писателей, как Швоб, грезящих о прошлых жизнях, беседах с символическими девушками о жизни, о смерти, о счастье, о страсти и других «вечных вопросах» (вечное устарело), ищущих в жизни странное, индивидуальное и различное; особенно французы не любят загадок и сложностей; слишком далека от конкретной жизни, из слишком тонких нитей соткана поэзия Швоба, и нужна известная эстетическая культура, чтобы ее читать.

Он, Швоб, тоже не любит наше время — «дождливое, темное, тоскливое». В своем творчестве он прожил все эпохи, от каменного века до Великой Революции, с любовью изображая их. Современности же он посвятил только «Курс журнализма», где с едким сарказмом высмеял пустозвонность, энциклопедическое невежество и цветистую вульгарность стиля газетных и журнальных «писателей».

От нее он уходит в мир сказочных грез, в мир прошлого, или к Психее-Монелле, в глубь души своей, ищет, находит, теряет ее, «неуловимую» и при свете ее огня творит образы, в которых реальное, возможное и невозможное не имеют границ и сливаются в одно — прекрасное.

Творчество Швоба редко имеет источником непосредственное наблюдение жизни. Оно преломляет лучи, отраженные уже в художественном и историческом сознании народов. «Великая сила творчества исходит из темного воображения народов, и шедевры рождаются из сотрудничества гения с наследством анонимов», — говорит он в статье о Флобере и руководствуется этим принципом. В этом творчестве двойного преломления обыкновенная реальность иногда затуманивается, но зато окрашивается в радугу причудливых цветов и укладывается в контуры отвлеченной мысли и приобретает новую художественную реальность.

Его любимый «жанр» — сказка, и он в совершенстве владеет трудной техникой этой формы. Его сказки редко ниже народного творчества: в их структуре те же элементы, но несмотря на их символичность, он умеет дать боль-

шой рельеф, красочность и стройность своим безымянным прототипам.

Не ищите в творчестве Швоба «типов» живых лиц с плотью и кровью. На картинах сказочного художника Гюстава Моро среди роскошной декорации, полной ярких деталей вещей, изображены мраморно-бледные лица и тела со скульптурными жестами; сквозь прозрачность этих лиц светится глубокая, чисто внутренняя, тревожная жизнь, в их жестах неподвижный порыв страсти. Таковы же большинство героев Швоба: таков его «всегда величественный», божественный Эмпедокл, безумный, гордый Герострат, ночью похищающий слово-«огонь» Гераклита из храма Дианы и сжигающий храм, таков его дивный Учелло, художник, весь ушедший в искание прекрасных геометрических линий, не замечающий любви живущей с ним девушки, отмечающий лишь изгиб ее любящей улыбки, не замечающий ее голодной смерти, набрасывающий лишь прямоту ее цепенеющего тела, соединение рук, линию закрытых очей, и наконец создающего картину, где он думал, что дал синтез всех форм вселенной и где были лишь непонятные сплетенья кругов, спиралей, дуг; таков царь в золотой маске, прокаженный, окруженный шутами в масках суровых жрецов и страдающими, печальными людьми в масках шутов, и гримасничающими старухами в масках чарующих женщин, срывающий маску с себя и с других и, узнав правду, вырывающий очи свои; таковы лица в «Мимах», в «Крестовом походе», во второй части «Монеллы», Ален и несметное число других героев, населяющих его сказки-рассказы. А другие, точно ночные тени, движутся при отблесках факелов: такова толпа пиратов, средневековых бандитов, бродячих актеров и поэтов-бретонцев, проституток, весь безобразный мир преступников и босяков, в котором любила жить его душа, искавшая странного, фантастического, своеобразного (эти симпатии вызвали у него интерес к Франсуа Виллону, тоже «висельнику» и вдохновенному поэту). И третьи подобны прерафаэлитским неземным вдохновенным созданьям: таковы его белые дети. Его творчество полно видений, фантомов из «красного,

черного и белого царства» его души, брошенных наружу, и наконец увенчано видением-синтезом: Монеллой — то эгоистичной, то жалостливой, любящей, вечно изменчивой, ищущей обманчивой красоты, в которой дух его целиком проектировался наружу. Все это — тени, фантомы, но они получают у него какую-то невыразимую реальность. «Он умеет освоеобразить лица самые иллюзорные», «сотни существ родились, движутся, говорят, идут по дорогам земным и морским с изумительной жизненной уверенностью»*. Не то ли же создало для нас реальность образов детских сказок, эти поглощавщие их бледных неопределенных героев, царевичей, царевен, ведьм страсти, возвышенные или низкие? Здесь художник только бесконечно усложнил, оразнообразил, усилил эту внутреннюю жизнь.

И как в сказках народных, как у Моро, эти видения движутся в обстановке, нарисованной с изумительной яркостью, определенностью, точностью. Поразительна масса вещей, деталей, наполняющих его произведения, выдержанных в стиле самых разнообразных эпох, его знание техники разных профессий. В Швобе высоко развита «любовь к вещам», свойство редкое и характеризующее людей с большой эстетической культурой. Эти вещи у него иногда живут своей мистической жизнью (как в простых сказках): укажем хоть бы на страницы, посвященные «бегству Монеллы», или на средневековый город в «Звезде». Этот богатый декоративный фон в гармоническом контрасте с выступающими на нем образами создает особую прелесть, законченное совершенство его сказок. Отметим еще, что этот фон часто тоже совсем иллюзорен и создается воображением героев (напр. «Мечтательница», «Разочарованная», «Услышанная» — в «Книге Монеллы»), но эффект остается тот же, как род оптического обмана. Вообще, у Швоба часто трудно определить источник чудесного: субъективно-психологический ли — его героев, или объек-

---

* Реми де Гурмон: «II-ая книга масок».

тивно-эпический. Реальность с чудесным у него нераздельно слита.

Мы в смущении, желая охарактеризовать стиль Швоба. Это стиль единственный и своеобразный и в то же время до неузнаваемости похожий на десятки других стилей. В этом писателе необычно развиты страсть и способность ассимилироваться. Как он сумел в каждом рассказе воссоздать дух, чувства, обстановку эпохи, места и личностей, так он владел с полной свободой языком и стилем всех эпох, общественных положений и авторов[*] *). Среди его рассказов вы встретите написанные чистым воровским жаргоном, чистым бретонским наречием, языком бродяг 15-го столетия; его «Мимы»[**], переведенные на греческий язык и найденные при раскопках, наверно, сочтены были бы Академией за драгоценную античную находку; «Крестовый поход» и множество других рассказов дают понятие о том, как меняется его стиль с людьми: от детского лепета до папской старческой торжественности (и то, какая разница между двумя папами). Мало того, есть среди его рассказов до неузнаваемости выдержанные в стиле Диккенса, Марка Твена и Эдгара По, и Флобер не отказался бы признать «Царя в золотой маске» за свое произведение. И все же в этом стиле есть что-то почти неуловимое, свойственное самому Швобу. Нам кажется, что это — лиризм, иногда нежно-грустный, любовный, иногда чуть-чуть иронический, выраженный не в словах, а в самом тоне рассказа, в его ритме и, повторяем, едва уловимый, но доминирующий над чужими стилями. И еще — музыкальная, иногда библейская ритмичность, свободная, не окостенелая в размеренных, определенных формах.

---

[*] Он пишет большей частью от лица своих героев или современных событий.

[**] «Мимы» характерны для Швоба, он любит мимикрировать. Как Франсуа Виллон в жизни, так он в литературе любит уподобляться обществу, в котором находится.

Творчество Швоба — сознательное. Оно сознательно, потому что он отдает себе отчет в архитектуре своих произведений, хоть они кажутся без- отчетными мечтаниями. В них всегда есть строгая, выдержанная, внешняя и внутренняя симметрия. В них есть внутренний «кризис». Так в «Мимах» бьющая через край эллинская жизнерадостность сталкивается с загадкою смерти и переходит в тихий глубокий пессимизм, и связующим центральным звеном служит любовь; и эпилог возвращается к прологу. Так в «Крестовом походе» детская вера и чистота сталкивается с ужасом жизни и неверием; и на всем его протяжении эта удивительная тревожная борьба между всей торжественной властью и трезвостью мира и беспомощностью наивных детских грез; внутренняя борьба, которой сценой служит весь мир от французских полей до багдадских минаретов, от ватиканской тиары до бродячего послушника, кончающаяся аккордом всепрощения и забвения; папа Григорий — папа Иннокентий, бродячий клерк — турецкий дервиш, беснующийся, мстительный белый прокаженный и тихий, белый ребенок не от мира сего; море и папа; множество симметрических комбинаций, взаимно переплетающихся; ряд живых зеркал, взаимно отражающихся. Так в «Звезде» восторженная мечта Алена одна против загадочности мира, против сухих мудрствований астролога, против ужаса пожара.

Творчество Швоба сознательно и потому, что в нем он проводит ряд отвлеченных идей о жизни, хотя кажется иногда, что его интересует только эстетическая сторона, что он творит «искусство для искусства».

Сердце человека двойственно: эгоизм уравновешивается милосердием, полюсы духа в глубине «я» и в глубине человечества; душа совершает медленный путь от эгоистического ужаса к альтруистической жалости; этот путь ведет через иронию и скептицизм сначала, потом через любовь: в любви ужас и жалость, в ней совершается кризис двух сил; искусство имеет задачей отражать кризис двойного человеческого сердца. Такова теза, поставленная в основу сборника «Двойное сердце». Там в ряде рассказов он

рисует ужас во всех его изгибах и комбинациях, в его индивидуальных и исторических проявлениях. Там красное и черное царство духа. Там чуть брезжит уже ирония и любовь. И смешается с жалостью во втором сборнике.

Люди — маски; различия и подобия относительны. Художник создает различное и единственное. Искусство в противоположность общим идеям, изображает лишь индивидуальное, желает лишь единственного. Оно не классифицирует; оно деклассифицирует: «Строй среди различий, разрушай подобия». В диалоге об Анархии он изображает (немного иронически) общество Элеутероманов, заткнувших себе уши и повязавших глаза, чтобы не видеть, не слышать, не быть подобным другим меняюшим ежеминутно свои решения, чтобы не быть подобным самим себе.

Люди — марионетки; женщины-марионетки играют в любовь, но в их игре ими движут разные силы; и одни играют, чтобы быть подобной идеальной женщине, богине-идее, другие движимы идеалом, созданным в «я» мужчины. И третьи, проститутки (говорит Раскольников в «Диалоге о любви») движимы божеством не «я» мужчин, ведь им руководиться и не идеальной женщиной.

И бог Любви, и бог Жалости попеременно пользуются ими. Мы поймем теперь, почему Психея-Монелла — «маленькая проститутка».

«Искусство вдохновляется Любовью, любимой женщиной», — на разный манер, но единодушно говорят Данте, Боттичелли, Кавальканти, Ангиольери, Учелло и другие художники ренессанса, вставшие из гроба, чтоб поговорить об искусстве и любимых девушках, и Ван-Скорель, живой, подтверждает.

«Спешите смеяться, — говорит он в статье “Смех”, — абсолютный скептицизм и абсолютное всеведение не знают смеха; скоро смех будет считаться древним невежественным обычаем сокращения мускулов».

Эгоизм, ужас, жалость, любовь-синтез проходят осью через его творчество, и вокруг них группируются малейшие изгибы, малейшие порывы души. Неведение, забвение, жизнь момента, жизнь прекрасною ложью, игрою,

звучит другим лейтмотивом. Мы слышим снова: «Будьте как дети».

Все, что рассыпано в бесчисленных сказках и статьях его, конденсировалось в «Книге Монеллы», этом удивительном диалоге с самим собою. В нем душа его совершает свой путь: из равнины выходит, рассыпается в ряд живых фантомов страстей, умирает, воскрешает, светит, гаснет, рождает миражи, любит, страдает и снова на равнине реализует первую исходную проповедь свою.

Таков этот поэт, «творивший из обломков», «среди различий» «фантомы, рожденные извращенностью его духа».

ДЕРЕВЯННАЯ ЗВЕЗДА

Ален был внук старой лесной угольщицы.

В старом лесу было много полян и мало дорог; там были круглые лужайки, вокруг которых стояли на страже высокие дубы; над неподвижными озерами папоротников качались ветки, свежие и тонкие, как женские пальцы; группы деревьев, солидных и высоких, точно пилястры, веками важно совещались шуршащим шепотом своих листьев; узкие окна в толстых корявых рамах открывались на море зелени, на котором трепетали длинные пахучие тени и солнечные кружки из белого золота; там были волшебные острова розового вереска и реки золотохвороста; решетчатые сплетенья темных и светлых полос; большие ровные площадки, откуда, полные трепета, вырастали юные сосны и младенцы-дубы; мягкие ложа из порыжевших игл, в которых старые деревья, казалось, утопали по колени своими расщепленными мшистыми стволами; жилища белок и гнезда гадюк; жужжание, стрекотание тысяч насекомых и свирельное щебетание тысяч птиц. В жаркие дни лес был полон суетливого шума, точно гигантский муравейник; а после дождя в лесу оставался свой дождь, медленный, тоскливый, упрямый, падавший с его верхушек и затоплявший его сухие мертвые листья. У него было свое дыхание и свой сон; иногда он вздыхал и сопел; иногда молчал, безмолвный, притихший, насторожившийся, без единого шороха змеи, без единой трели славки. Чего он ждал? Никто не знал. У него была своя воля и свои вкусы: он закидывал лесы берез и они вытягивались прямо как струна; потом ему становилось страшно, и он, весь дрожа, прятался в уголок под осиновую рощу, иногда он высовывал одну ногу за опушку до самой равнины, но не оставался там и снова бежал, среди холодного ужаса своих высоких исполинов-стволов, в глубокую чащу, где царила вечная ночь. Он терпел жизнь животных и как будто не замечал ее; но его непоколебимые, несгибаемые стволы, вырывавшиеся из земли словно отверделые молнии, враждебно относились к людям.

К Алену, однако, он не питал ненависти. Он скрывал от него небо. Долго ребенок не знал другого света, кроме су-

мрачной молочной зелени лесного воздуха; а проходя ночью, он видел, как куча обугливающегося дерева искрилась красными точками; милосердный лес не дал ему смотреть на все золото и серебро, в которое одето ночное небо. Так жил он с доброй старухой; ее лицо, изборожденное, как кора, застыло в неизменных чертах жизненного покоя. Он помогал ей рубить ветви, сваливать их в кучи, покрывать их землею и торфом, следить за огнем, чтоб он был слабый и медленный, выбирать куски для черных пачек, наполнять мешки носильщиков, лица которых были плохо видны в густом лиственном сумраке. За это ему дано было счастье слушать в полдень болтовню веток и животных, спать в жару под папоротниками, видеть сны, в которых его бабушка становилась корявым дубом, и старый бук, постоянно смотревший в двери их лачуги, садился на корточки и начинал кушать суп; созерцать на земле неустанный поток неуловимых солнечных монеток; размышлять о том, что люди, его бабушка и он, не зелены и не черны, как лес и уголь; слушать, как кипит котелок и выжидать минуты, когда от него понесется сладостный аромат; плескать своей глиняной кружкой в воде лужицы, притаившейся меж тремя круглыми камнями; видеть, как ящерица выскакивает из-под ног вяза, словно светлый волнистый и жидкий побег и как из-под мышки того же вяза пучится мясистый, огненный гриб.

Так проходили годы Алена средь дневной дремоты, полной грез и ночных сновидений.

Однажды, в осенний день, разразилась большая гроза. Все исполины охали и ворчали; струи дождя, точно копья, пронзали густые сплетенья ветвей; ветер выл и вихрем кружился вокруг седых голов столетних дубов; молодая заболонь стонала, старая рыдала; слышно было, как плакалась старая сердцевина деревьев и многие из них были поражены смертью и пали, убитые наповал, увлекая за собою обломки вершин. Зеленое тело леса лежало изрезанное, покрытое зияющими ранами, и сквозь них проникал в его недра, полные испуганного сумрака, ужасный свет неба.

В этот вечер ребенок увидел изумительную вещь. Гроза ушла уже далеко и снова все стало немо. Казалось, лес наслаждался славным покоем после долгого боя. Когда Ален пошел набрать в свою миску воды из каменистой лужи, он увидел в ней искорки, блестящие, трепещущие, точно смеющиеся в простеньком зеркальце холодным смехом. Сначала он подумал, что это были огненные точки, как те, что блестели в уго́льной куче: но эти не жгли ему пальцев, бежали из под его руки, когда он пытался их схватить, качались туда и сюда, потом упорно возвращались искриться на то же место. Это были холодные и насмешливые огни. И он видел, как меж ними колыхалось в воде отраженье его лица и его рук. Тогда он поднял глаза кверху.

Сквозь большую рану в листве он увидел лучистую глубину неба. Лес не охранял уж Алена и он почувствовал как бы стыд наготы. Из глубины этого далекого лазурного просвета сияло множество мигающих безжалостных глазок, острых, пронизывающих глазок, мерцающих искорок, колючих лучей. Так Ален узнал звезды и, лишь только он их узнал, ему страстно захотелось иметь их.

Он побежал к бабушке, задумчиво мешавшей уголья. Когда он спросил у нее, почему каменистая лужа отражает столько блестящих точек, дрожащих средь деревьев, бабушка сказала ему:

— Это, Ален, прекрасные небесные звезды. Над лесом есть небо, и те, что живут на равнине, видят его всегда. Каждую ночь Бог зажигает там свои звезды.

— Бог зажигает свои звезды... — повторил ребенок. — А я, бабушка, я мог бы зажигать звезды?

Старая женщина положила на его головку свою жесткую морщинистую руку. Точно один из старых дубов пожалел Алена и ласкал его своей толстой потрескавшейся корой.

— Ты слишком мал. Мы все слишком малы. Только Бог один умеет зажигать ночью свои звезды.

И дитя повторило:

— Бог один умеет зажигать ночью свои звезды...

С тех пор обычные игры Алена стали тревожней. Болтовнялеса перестала казаться ему невинной. Он уж не чувствовал себя в безопасности под кружевным покровом папоротников. Его удивляла вечная подвижность солнечных пятен, рассеянных на мху. Ему надоело жить в зеленой и темной тени. Ему захотелось другого света, не только чешуйчатых переливов ящерицы, не только угрюмого блеска грибов, не только красного сверканья тлеющих угольев. Перед сном он ходил к луже глядеть на бесконечный мерцающий смех неба. И желанья его всей силой своей влекли его прочь из этой мрачной темницы буков, дубов и вязов, за которой снова были буки, дубы и вязы, и снова деревья, деревья и глухая чаща. И его гордость была затронута словами старухи:

— Бог один умеет зажигать ночью свои звезды.

— А я? — думал Ален. — Если б я пошел на равнину, если б я был под этим небом, что над деревьями, не мог бы я тоже зажечь мои звезды? Да, я пойду! я пойду!

Ничто больше не радовало его в этом лесу. Лес осаждал Алена точно недвижное полчище, в котором он был заключен, точно в несокрушимой, безвыходной тюрьме, со стражами-деревьями, неусыпно следящими за ним; они множились, чтоб схватить его, вытягивали свои гигантские, несгибаемые руки, вырастали перед ним грозные, громадные, ужасные, немые, вооруженные огромными, суковатыми дубинами, строили на каждом шагу непреодолимые плетеные баррикады, искали его своими цепкими враждебными пальцами; лес, казалось, ненавидел все, что не было им, ревниво охраняя свое темное сердце. Скоро он залечил все свои жестокие язвы, перевязал все причиненные ему грозою раны, сквозь которые проникал свет, и опять уснул сном своей глуби. И лужа средь камней снова стала темной, и бесхитростное зеркальце уж больше не отражало лучистого смеха неба.

Но в грезах ребенка звезды продолжали смеяться.

Однажды ночью, когда бабушка спала, он украдкой ушел из лачуги. Он взял с собою в котомку хлеба и кусок черствого сыру. Тихо тлели потухавшие уголья. Как эти красные

точки были жалки в сравнении с живыми искрами неба! Дубы ночью были лишь слепыми тенями, неуклюже на ощупь вытягивавшими свои длинные руки. Они спали, как его бабушка, но спали стоя. Их было так много, что они могли положиться друг на друга. Не слышно было их дыхания, когда они спали. Они останутся так, молчаливые, до первого рассветного дуновенья. Но когда утренний ветер их разбудит, и они зашепчут своею листвой, бдительность уже будет обманута Аленом. Все птички будут щебетать и щебетать, сообщая им: Ален ускользнул из их рук. Они не смогут гнаться за ним, потому что они боятся равнины. Пусть они себе грозят издалека, словно строй черных великанов: они не умеют ни кричать, ни ходить — они умеют только толпиться, толкаться, множиться, расти, топорщиться, ветвиться, выпускать тысячи неподвижных щупалец, внезапно вытягивать вперед огромные головы и размахивать своими отвратительными дубинами. Но за опушкой их мощь исчезает и какие-то чары удерживают их и, будто ослепленные светом, они цепенеют и становятся недвижимыми.

Когда Ален был уже на равнине, он отважился обернуться. Черные великаны, столпившись, словно полчища ночи, казалось, с печалью смотрели на него.

Потом Ален поднял глаза вверх. Чудо ждало его на небе. Оно все будто цвело огненными цветами. Везде трепетали искорки. Одни убегали, утопали, исчезали, вдруг возвращались, росли, горели красным огнем, бледнели, голубели, тускнели, колыхались, рассыпались на три, четыре, пять огненных черточек, сплетались снова, сливались и, слитые, становились одной яркой точкой. Другие были невыносимо острые, пронизывали глаза точно уколом иглы, потом становились мягкими, затуманивались, расплывались в светлые пятна, дрожали, совсем пропадали в пустоту и в то же мгновение снова, появляясь, пронзали воздух тонким кинжалом. А третьи располагались линиями, образовывали фигуры, укладывались в формы, и Ален видел дома, окна, колесницы; то вдруг искрился угол крыши, то притолка дверей, то дышло, то ступица; потом все по-

тухало; потом точки блестели снова, но неодинаково сильно, и фигуры, виденные только что, уже не видны были ясно.

Ребенок простер свои руки в глубину ночи. Он пытался схватить эти бледные огни, вылепить из них вещи по своему вкусу; ему хотелось узнать, как горят они, и были ли это там, высоко, кучи синего угля, усеянные огоньками.

Потом он окинул взглядом равнину. Широкая, плоская и голая, она бесформенно простиралась до края неба; низкая растительность едва-едва шевелилась. Вдали она кончалась тихой рекой; берегов нельзя было различить. Это была будто та же равнина, только белее.

Ален пошел к реке, чтоб увидеть в ней звезды.

Здесь они, казалось, текли, становились жидкими и неуверенными, змеились, округлялись, скрывались за темною рябью и иногда разбивались на множество переливчатых светлых черточек. Они неслись по течению реки, и, заблудившись средь ее струй, умирали, задушенные пучками травы.

Всю эту ночь Ален шел вдоль реки. Два-три утренних дуновения окутали все звезды в светло-серый саван, исчерченный золотыми и розовыми полосами. Немного устав, Ален сел под тонким деревцом, покрытым дрожащими серебристыми листочками. Он пожевал свой хлеб и напился воды из реки. Так шел он целый день. Вечером он спал в какой-то прибрежной ложбине. А на следующее утро он снова пустился в путь.

Река становилась все шире и шире; равнина теряла свою обычную окраску. Воздух стал влажным и соленым. Ноги вязли в песке. Странный рокот наполнял весь простор. Белые птицы летали, испуская жалобные, хриплые крики. Вода желтела и зеленела, вздувалась и выбрасывала ил. Берега опускались и исчезали. И вскоре Ален не видел больше ничего, кроме огромного песчаного пространства, окаймленного вдали широкой, темной полосой. Река, казалось, не двигалась дальше: ее сдерживала пенистая преграда, о которую разбивались усилия ее маленьких волн. Потом

река раскрылась и стала беспредельной; она наводнила песчаную равнину и разлилась до самого неба.

Алена охватывало странное смятение. Вокруг него рос дюнный волчец и желтый камыш. Сильный ветер обдувал его лицо. Вода вздымалась правильными валами, увенчанными белыми гребнями: один за другим подбегали они и пожирали своей зеленой пастью берег. Они изрыгали на берег пенистую слюну, гладкие и продырявленные раковины, переливчатые, зубчатые рожки, странно оживленные прозрачные и мягкие предметы, таинственные, загадочно источенные обломки. Звуки всех этих зеленых глоток были нежны и жалобны. Они не охали, как высокие деревья, а, казалось, жаловались на что-то на чужом языке. Они тоже, должно быть, были ревнивы и непроницаемы: их пурпурная тень катилась, тоже избегая света.

Ален подбежал к берегу и стал плескать ножками в пене. Наступал вечер. С минуту на горизонте красные полосы плыли в жидких сумерках. Потом ночь властно поднялась из воды, с далекого края моря и зажала все тысячеголосые уста бездны своими темными клубами. И звезды усеели небо Океана.

Но Океан не был зеркалом звезд. Так же, как лес, он охранял от них свое мрачное сердце вечным движеньем волн. Из этой волнистой беспредельности вздымались косматые водяные головы, но рука Океана снова увлекала их к себе в глубину. Текучие горы громоздились, сливались и таяли в то же мгновение. Кавалькады волн мчались в яростной скачке и сваливались в пропасть. Бесконечные полки воинов с развевающимися белыми султанами устремлялись в беспощадную атаку и падали на поле битвы и ложились под колышущийся бесконечный саван. За выступом одного утеса ребенок увидел блуждающий огонь. Он подошел. Несколько детей шевелились у берега; у одного из них в руках был факел. Они склонились над песком там, где испускают дыхание длинные уста вод. Ален вмешался в их среду. Они смотрели, что принесло море на песчаный берег.

То были лучистые разноцветные существа, розоватые, фиолетовые, усыпанные алыми пятнышками, лазурными глазками, рубцы их светились бледным огнем. Точно ладони странных рук, вокруг которых сгибались тонкие пальцы; руки, блуждающие, недавно умершие, выброшенные бездной, хранящей тайну их тел; мясистые и живые листья, куски морского тела; звездчатые зверьки, живущие и двигающиеся в глубине темного неба.

— Морские звезды! Морские звезды! — кричали дети.

— О! — сказал Ален, — звезды!

Ребенок, державший факел, нагнулся к Алену.

— Ты знаешь, — сказал он,— историю этих звезд? В ночь, когда родился наш Господь, Господь детей, на небе родилась новая звезда. Она была огромная и голубая. Она шла за Ним всюду, и Он любил ее. Когда злые люди пришли убить Его, она плакала кровавыми слезами. Через три дня Он умер, и она умерла вместе с Ним. Она упала в море и утонула. И много других звезд в то время с горя утопилось в море, И море пожалело и не отняло у них их цвета. Оно тихо подходит каждую ночь и отдает их нам, чтоб мы их хранили на память о Господе Нашем.

— О! — сказал Ален, — а не мог бы я их снова зажечь?

— Они мертвы, — ответил ребенок с факелом, — они мертвы с тех пор, как умер Господь.

Тогда Ален потупил головку, отвернулся и вышел из светлого круга. То, чего он искал, не было звездой утонувшей, звездой мертвой, потухшей навсегда. Он хотел, как Бог, зажечь звезду, дать ей жизнь, наслаждаться ее светом, смотреть на нее и видеть, как она поднимется в высь, далеко от мрачного леса, что прячет звезды, далеко от глубокого Океана, что их топит. Другие дети могут собирать мертвые звезды, хранить и любить их. Эти звезды не нужны Алену. Где найдет он свою? Он не знает; но, наверное, он ее найдет. Это будет чудесно. Ален зажжет ее, и она будет принадлежать ему и, может быть, пойдет за ним всюду, как та, большая, голубая, что шла за Господом.

Бог, у которого столько звезд, будет добрым и даст эту одну маленькому Алену. Ему так хочется ее. И как уди-

вится его бабушка, когда он вернется! Его звезда будет освещать весь ужасный лес вплоть до самой глубокой чащи. «Теперь не один только Бог зажигает звезды!» — крикнет Ален. — «Есть и моя звезда. Ален один зажигает ее здесь, чтоб светить среди старых деревьев. Моя звезда! Моя звезда в огне!»

Прыгающий отблеск факела блуждал там и сям по прибрежному песку и стал красноватым в тумане; тени детей исчезли в ночи. Ален все еще был один. Мелкий пронизывающий дождик окутал его и ткал между ним и небом капельную пелену. Плач волн вторил ему: то ропот, то совиный крик слышался в нем; иногда сильный вал ударялся с резким шумом об утес, разбивался, разбрызгивался, растекался во все стороны или бросался в черную тьму, словно призрачное пенистое чудовище. Потом жалоба снова становилась ровной и монотонной, как вздохи больного; потом снова взволнованный, нежный и смутный воздушный лепет...

Ален вошел в молчаливую ночь...

И проходили дни и ночи; звезды всходили и заходили, но Ален не находил своей звезды. Он пришел в суровую, бедную страну. Поздняя осенняя трава грустно желтела на тянувшихся длинною лентой лугах; на виноградных лозах листья краснели средь сжатых и жестких кистей. Повсюду по равнине выстраивались ровные ряды тополей. Отло-гие холмы медленно подымались, разделенные бледными полями, кой-где оживленные темным пятном дубовой рощицы. Другие, крутые, были увенчаны кольцом темных деревьев. Широкие плоские возвышения щетинились угрожающими выступами. Холодная, бесстрастная зелень сосен здесь казалась радостной и веселила взор.

По этой бесплодной местности вился светлый каменистый ручей. Он тихо сочился из бугорка, журчал тонкой струею по почти сухому руслу у ближнего косогора и расщеплялся на множество рукавов, ласкавшихся у подножья старых деревянных домиков с оконцами, убранными гирляндами. Он был так прозрачен, что видны были спины окуней и щук, стоявших в нем недвижной толпою. Дно бы-

ло усеяно камешками, и Ален видел ночью загадочные игры белых кошек между двумя берегами.

А дальше, там где ручей становился речкой, на ее низких берегах виднелся маленький городок с остроконечными домиками, покрытыми стрельчатыми, полосатыми черепицами, со множеством скучившихся, решетчатых, крохотных окошек, со сторожевыми будками, крыши которых были выкрашены в синюю и желтую краску, со старинным деревянным мостом, с монастырем, похожим издали на алый клубящийся туман, где Святой Георгий, облитый кровью, погружал свое копье в пасть красного каменного дракона.

Широкая, светлая, зеленая река огибала городок, точно мол, и текла между далекими снежными горами и маленькими холмами городка, по которым карабкались извилистые улицы с названиями, написанными большими разноцветными буквами: улица Шлема, улица Короны, улица Лебедей, улица Дикого Человека, возле Рыбного Рынка и Каменного Льва, изрыгавшего чистую кристальную струю воды.

Там были приличные харчевни, где девушки с пухлыми щеками наливали светлое вино в оловянные кувшины, где висело много бочонков и мехов, оставленных в заклад; ратуша, где заседали горожане в суконных плащах с капюшонами, в холщовых рубашках и с золотым кольцом на указательном пальце, творили суд и расправу; а вокруг нее навесы писцов с кучами пергамента и письменными принадлежностями; кроткие женщины с голубыми, влажными глазами, с лицом, расплывшимся от умиления и нежности, с двойным подбородком, с прозрачными нагрудниками и головными уборами, иногда с лентой из тонкого полотна на устах; девушки в белых платьях, с вырезными рукавами, с поясами вишневого цвета, с длинными волосами, казалось, выпряденными на прялке; рыжие дети с бледными губами.

Ален прошел через низкие и тяжелые сводчатые ворота: это был вход на площадь Старого Рынка. Его окружали маленькие домики, сидевшие на корточках, точно

старухи, собравшиеся погреться у очага, свернувшиеся под своим сланцевым колпачком и покрытые чешуею, словно горло дракона. Приходская церковь, усеянная черными страшилищами с мшистыми бородами, склонялась к четырехугольной башне, заострявшейся кверху и кончавшейся тонкой иглой. Неподалеку была открыта лавка цирюльника, с замасленными оконными стеклами, круглыми и вздутыми, как пузыри, с зелеными ставнями, на которых были намалеваны красною краской ножницы и ланцет. В середине площади был большой колодец с изъеденной закраиной, с ажурным куполом из кованого железа. Вокруг бегали босые ребятишки; некоторые из них играли на площади в «котлы»; один мальчуган, с губами, измазанными патокой, тихонько плакал и две девочки драли друг друга за волосы. Ален хотел заговорить с ними; но они убегали и смотрели на него исподлобья, не отвечая.

В немного дымном воздухе чуялась уже вечерняя роса. Уже загорались свечи, отражаясь в толстых оконных стеклах с красными кружками. Двери закрывались; раздавалось хлопанье ставен и лязг замков. Большая оловянная тарелка звенела в гостинице, ударяясь о железный крюк. С крыльца сквозь полуоткрытые двери Ален видел отблеск очага, чуял запах жаркого, слышал плеск разливаемого вина; но у него не хватило смелости войти. Бранчивый женский голос кричал, что пора уж все закрыть. Ален проскользнул в какой-то темный переулок.

Все лари были сняты. Некуда было спрятаться от вечернего холода. Лес предлагал дупла своих раздвоенных деревьев; река предоставляла свои прибрежные впадины; равнина — свои полевые межи; море — выступы своих утесов; даже суровая, тощая деревенька не скупилась на рвы у подножья своих плетней; только хмурый, грязный город, тесно скучившийся, съежившийся, точно заключенный в монастырь, не давал ничего маленьким скитальцам.

И городок окутался густой черной тьмой, замысловато испещрился своими извилистыми, запутанными коридорами, своими узенькими тупиками, где он скрещивал свои столбы, перекидывал толстые балки, рыл переплетавшие-

ся канавки. Неожиданно выдвигал две тумбы с цепями, зацепы опускной решетки, крюки, вбитые в стену; один дом заграждал улицу своей башенкой, другой давил ее своим щпицем, третий заполнял ее своим пузом.

То была словно неподвижная, каменная и деревянная стража, вооруженная железом. Все это было черно, негостеприимно и молчаливо. Ален пошел вперед, вернулся, заблудился, плутал вокруг да около и очутился опять на площади Старого Рынка.

Свечи были потушены и все окна ушли в свою скорлупу. Только в слуховом окне у самого острия четырехугольной башни виднелся слабый мерцающий свет.

Туда можно было проникнуть через незакрытое отверстие в цоколе башни, и ступени лестницы доходили до самого порога. Ален набрался смелости и стал взбираться по узкой и крутой винтовой лестнице. На полдороге у стены потрескивал фитиль в медном рожке, горевший слабым огнем. Поднявшись до самого верха, Ален остановился перед странной маленькой дверью, обитой бронзовыми гвоздями, и затаил дыхание. Время от времени до него доносился резкий старческий голос, произносивший отрывистые фразы. И вдруг сердце его стало усиленно биться, голова закружилась; старческий голос говорил о звездах. Ален приник ухом к железной резьбе большого замка и слушал.

— Звезды дурные и пагубные, — говорил голос, — для ночи, часа и того, что вопрошает. Пиши: Сириус облит кровью; Большая Медведица во мраке; Малая Медведица в тумане. Полярная Звезда лучезарна и воинственна. Верхние Врата: сегодня вечером, во вторник, Марс красный и в пожаре, в восьмом доме, доме Скорпиона, знамение смерти и смерти от огня: битва, побоище, резня, пожирающее пламя. В сей тринадцатый час, злополучный по существу, Марс в соединении с Сатурном в доме ужаса. Бедствие; смерть; роковой исход всякого предприятия. Железо смешивается с оловом средь огня. Железо кованое, для разрушения; олово расплавленное. Марс в союзе с Сатурном. Красное проникает в черное. Пожар ночью, тревога во время сна. Звон железа и удары в олово. Противуположный

вид: ибо Телец входит в Верхние Врата и Скорпион в Нижние Врата. Юпитер во втором доме противустоит Марсу в осьмом. Разрушение всякого богатства и всякой славы. Сердце Неба бесплодно и пусто. Так пламенный Марс неоспоримо властвует над зданиями и жизнью, что принадлежат Сатурну. Пожар города; смерть от пламени. Ужас и всеобщее смятение. В тринадцатый час сей ночи, во вторник, Бог отвращает очи от своих звезд и отдает души на сожжение.

В ту минуту, когда старый голос диктовал эти слова, дверь открылась под ударами кулаков и ног: маленькая фигурка Алена выросла на пороге, стройная и гневная, и ребенок яростно крикнул:

— Вы лжете! Бог не покидает своих звезд. Только Бог один умеет зажигать звезды ночью!

Старик, одетый в меховую мантию, поднял голову, склоненную над астролябией, имевшей форму армиллярной сферы, и заморгал своими покрасневшими веками, точно древняя ночная птица, спугнутая в своем притоне. У ног его сидел бледный и худенький ребенок, который писал на пергаменте; тростниковое перо выпало из его пальцев на землю.

Пламя двух больших восковых свечей вытянулось и наклонилось от струи воздуха, ворвавшейся в комнату.

Старик протянул руку, и из мехового рукава показалась костлявая кисть, как у скелета.

— О, дитя, темное и маловерное, — сказал он, — сколь велико твое черное невежество! Слушай: вот другое дитя поучит тебя своими устами. Расскажи ему, ты, о природе звезд.

И худенький ребенок стал говорить заученными словами:

— Звезды укреплены на подвижном хрустальном своде и вращаются столь быстро на своей алмазной оси, что зажигаются от своего собственного движения. Бог есть лишь первый двигатель сфер и причина вращения семи небес; но с момента начального движения небо созвездий подчинено своим собственным законам и управляет по своему

произволу земными событиями и человеческими судьбами. Таково учение Аристотеля и Святой Церкви.

— Ты лжешь! — крикнул снова Ален. — Бог знает все звезды и любит их. Он мне показал их, несмотря на высокие деревья в лесу, которые закрывали от меня небо. Он пустил их плавать по реке и радостно танцевать над полями; я видел звезды, что утопились с горя, когда умер наш Господь; а скоро Он покажет мне мою звезду и...

— Дитя, Бог покажет тебе твою звезду. Быть по сему! — сказал старик.

Но Алену не удалось узнать, говорил ли он серьезно. Внезапный порыв ветра ворвался в келью и пламя свечей пригнулось, точно скошенный цветок, посинело и умерло. Ален вышел на лестницу, нащупывая стену; набравшись смелости, — чтоб наказать лгуна-старика, — он отломал медный рожок с горящим фитилем и унес с собою.

Вся площадь утопала в черной ночной тьме и четырехугольная башня погрузилась в нее и исчезла, как только Ален вышел. При свете своей лампы он отыскал сводчатые ворота и прошел через них. Здесь остроконечные колпаки крыш не разрезали уже небо на кусочки. Мрак стал шире и сверху был будто растворен белизной. Ночное небо было точно схвачено в огненный звездный силок, светлые тонкие воздушные нити его сплетались в яркие, искристые узлы. Ален поднял голову вверх к лучистой сетке. Звезды все смеялись своим искрящимся, как иней, смехом. Им, наверно, не было жалко Алена. Они его не знали, потому что Ален так долго был окутан густым страшным мраком леса. Высокие и ослепительные, они смеялись над ним, потому что он был мал, и у него была только мерцающая и коптящая лампа. Они смеялись еще над стариком-лгуном, думающим, что он знает звезды, и над его двумя потухшими свечами. Ален снова взглянул на них. Смеялись ли они, издеваясь, или смеялись от радости? Они тоже плясали. Должно быть, звезды были веселые. Знают ли они, что маленький Ален зажжет одну из них, как сам Бог? Наверное, Бог сказал им об этом. Какая из них его звезда? Их было много, много. В какую-нибудь ночь она

откроется Алену, спустится к нему, и ему останется только взять ее, точно грушу сорвать. Или, если она не захочет, чтоб он ее трогал, она будет летать перед ним на своих огненных крыльях. И она будет смеяться с ним, и он будет смеяться тем же смехом, и весь старый лес будет усеян маленькими смеющимися огоньками.

Ален шел по старому, дрожавшему на своих резных столбах мосту. Сквозь толстые бревна его настила видна была текущая вода, а в середине моста стояла сторожевая башенка, вся одетая в сланцевые черепицы, выкрашенные в желтую и синюю краску. Будочник должен был стоять в нише; но его там не было. К счастью для Алена: он, может быть, не пропустил бы его с лампой. Ален не посмел осветить черную дыру в башенке и прибавил шагу. За мостом находились самые бедные дома городка: на них не было ни разноцветных гербов, ни когтистых чудовищ, цепляющихся за карнизы окон, ни драконовых пастей, изрыгающих дождевую воду, ни змей, сплетающихся на дверных притолоках, ни выпуклых, гримасничающих солнц со слезшей позолотой под крышей. На них не было даже рубах из некрашеных черепиц или серого сланца; они были просто сделаны из отесанных толстых бревен.

Ален поднял свою лампу, чтобы осветить путь. Вдруг он остановился и задрожал. Перед ним, немного повыше его головы стояла звезда.

Правда, звезда была темная, потому что она была из дерева. Шесть лучей, положенных накрест на шесть других лучей, делали ее совершенно такой, как нужно. Она была прибита к концу шеста, торчавшего поперек улицы. Ален осветил ее и стал рассматривать. Звезда была уже стара и покрыта трещинами. Она, верно, долго ждала; Бог забыл ее на окраине этого городка; или он ее оставил, не говоря ни слова, зная, что Ален найдет ее. Ален подошел к дому. Это был бедный дом, совсем без ставень; сквозь низкие окошки он увидел много деревянных человеческих фигур. Они были выставлены на доске, — казалось, для того, чтоб смотреть в окно; платья на них были твердые и прямолинейные, губы сжаты в тонкую черту, глаза круглые и туск-

лые, руки скрещены на груди. Там же виднелись еще бык и осел с прямыми, растопыренными ногами и крест, с пригвожденной горестной фигурой и яслями, над которыми была укреплена звезда, совсем такая же, как та, что на улице.

И Алену стало ясно, что, наконец, он нашел. Звезда была сделана из лесного дерева и ждала, чтоб ее зажгли. Она ждала Алена. Он поднял к ней свой фитиль, красное пламя лизнуло звезду и она захрустела. Крупные синеватые слезы брызнули из нее: потом блеснула огненная лента, раздался треск, звезда загорелась, запылала, стала огненным шаром. Тогда Ален захлопал в ладоши и закричал:

— Моя звезда! Моя звезда в огне!

В доме послышалось движение, наверху открылись окна и Ален увидел маленькие перепуганные головки с длинными волосами, много детей в рубашонках; они проснулись и подбежали к окнам, чтоб посмотреть. Ален побежал к двери и вошел в дом. Он кричал:

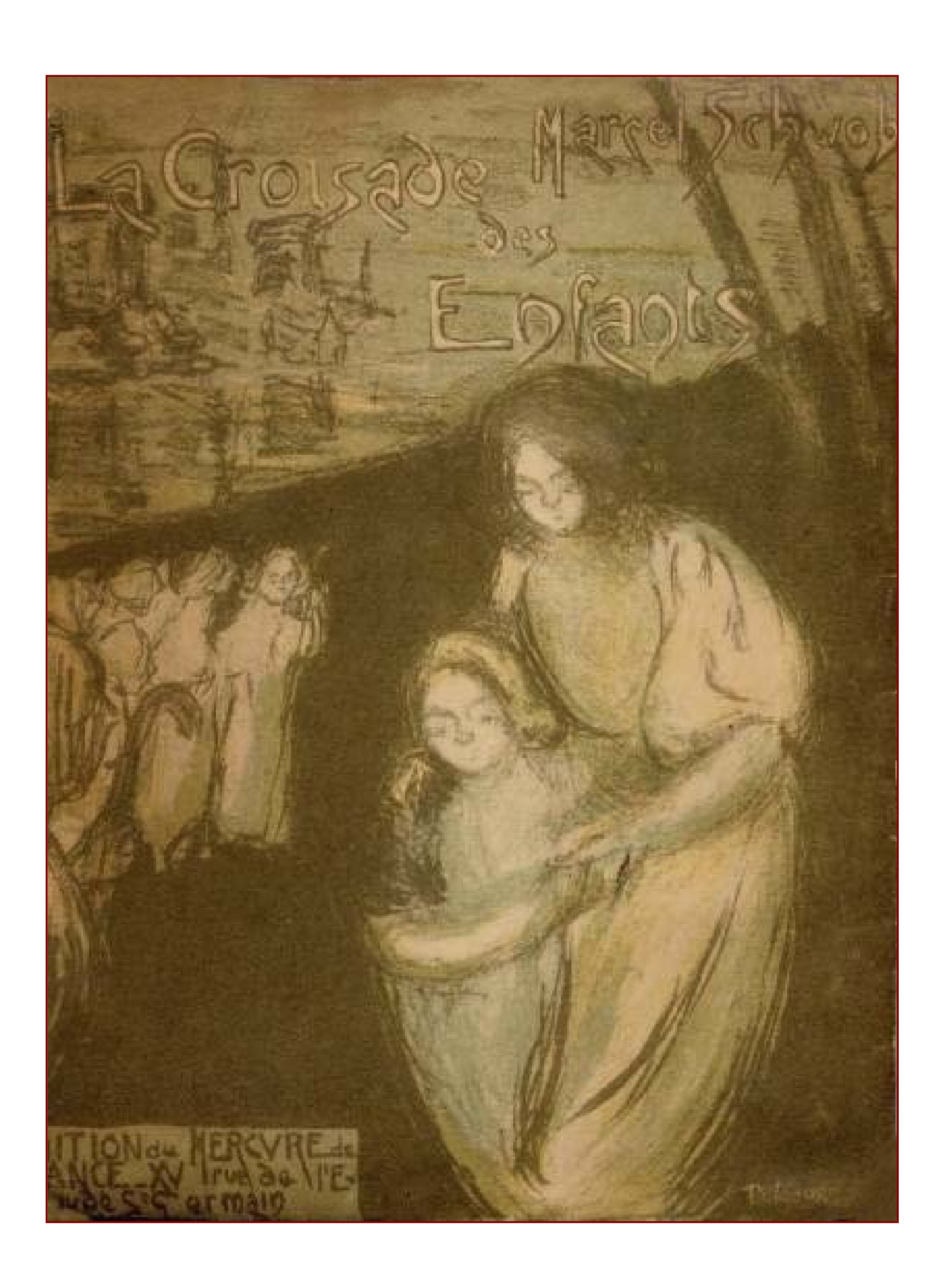
— Дети, бегите смотреть на мою звезду! моя звезда в огне! Ален зажег свою звезду в ночи!

А пылающая звезда, становилась все больше и больше, рассыпая вокруг снопы искр; за ней зажглись сухие бревна; соломенная крыша сделалась красной, и навес стал одним сплошным огненным пологом. Раздались крики ужаса, глухие призывы на помощь, потом раздирающие вопли. Пожар становился грозным. Произошел обвал; большие головни торчали в едком дыму; это была ужасная, пестрая смесь красного и черного; наконец, словно открылась черная пропасть, куда свалилась гигантская груда пылающих угольев.

И глухой, зловещий бой набата раздался среди ночи.

В тот же час старик из четырехугольной башни увидел, как в Сердце Неба (оно же — Дом Славы) взошла новая красная звезда.

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ


Marcel Schwob
La Croisade des Enfants
ITION du MERCVRE de
ANCE XV rue de l'E-
de St Germain

Хорхе Луис Борхес

МАРСЕЛЬ ШВОБ «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ»

Пожелай какой-нибудь восточный путешественник — скажем, один из персов Монтескье — удостовериться в литературном гении французов, и перед ним немедленно взгромоздили бы книги самого Монтескье либо семьдесят с лишним томов Вольтера. Между тем хватило бы и одного счастливо найденного слова (допустим, воздвигающего арку в небесах arc-en-ciel* или дивного заглавия записок о первом крестовом походе, звучащего так: «Gesta Dei per francos», то есть «Деяния Господа через франков». Gesta Dei per francos — чудовищные деяния не уступали, признаюсь, этим поразительным словам. Раздосадованные историки понапрасну примеряют разумные объяснения — социальные, экономические, этнические. Факт остается фактом: на протяжении двух столетий в умах народов Запада, ставя, надо сказать, в тупик их самих, царил единый порыв — освободить святой Гроб Господень. В конце одиннадцатого века голос амьенского затворника — особы скромного роста и неброской внешности (persona contemptibilis**), но с удивительно живыми глазами — дал начало первому из походов; ятаганы и метательные машины Халиля в конце тринадцатого прервали у Святого Иоанна Акрийского восьмой. Больше попыток не было. Загадочная многолетняя страсть, породившая столько тупой жестокости и проклятая уже упоминавшимся Вольтером, улеглась: удовлетворенная Европа вернула себе Гроб Господень. Крестовые походы, по выражению Эрнеста Баркера, не потерпели краха: они попросту оборвались. От исступления, двигавшего необозримыми войсками и замышлявшего бесчисленные набеги,

---

* Радуга (*фр.*) — букв, «арка в небе».
** Жалкий видом (*лат.*).

осталось лишь несколько образов, спустя века еще раз мелькнувших в печальных и чистых зеркалах «Gerusalemme»*: рослые, закованные в железо всадники, ночи, полные львиным рыком, края чародейства и безлюдья. Но куда пронзительней другой образ — тысяч и тысяч погибших детей.

В начале XII века из Германии и Франции вышли две группы детей. Они верили, будто посуху перейдут моря. Может быть, их вели и хранили слова Евангелия: «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им» (Лк 18:16)? И разве не сказал Господь, что вера с горчичное зерно может двигать горы (Мф 17:20)? В надежде, неведении и радости направлялись они к гаваням юга. Чуда не произошло. Божьим соизволением колонна, шедшая из Франции, попала в руки работорговцев и была продана в египетский плен; немецкая же сбилась с дороги и исчезла, уничтоженная варварской географией и, как можно думать, чумой. Quo devenirent ignoratur**. Есть мнение, что какие-то отзвуки этого слышны в поверье о гаммельнском флейтисте.

В священных книгах индусов мир предстает сновидением недвижного божества, неделимо таящегося в каждом. В конце XIX столетия творец, исполнитель и зритель того же сна Марсель Швоб задался мыслью воскресить сон, который много веков назад снился в пустынях Африки и Азии, — историю о детях, пустившихся на защиту Гроба Господня. В нем явно не было ничего от неутолимого археолога Флобера; скорее он поглощал старинные страницы Жака де Витри или Эрнуля, а потом отдавался трудам воображения и отбора. Представлял себя римским папой, голиардом, тремя детьми, клириком. Он вооружился аналитическим методом Роберта Броунинга, в чьей пространной повествовательной поэме «The Ring and the Book» (1868)*** запутанная история преступления раскрывается в двенадцати монологах и видится поочередно глазами убийцы, жертвы, свидетелей, защитника, доносчика, судьи и,

---

* Иерусалим (*лат.*).

** Что с ними сталось, неведомо (*лат.*).

*** «Кольцо и книга» (англ.).

цы, жертвы, свидетелей, защитника, доносчика, судьи и, наконец, самого Роберта Броунинга... Лалу («Littérature francaise contemporaine»*, 282) отмечает «сдержанную точность», с которой Швоб пересказал "подлинную легенду"; я бы дополнил, что эта точность нисколько не убавляет ни ее легендарности, ни патетики. Впрочем, разве не сказал еще Гиббон, что пафос обычно рождается из самых незначительных подробностей?

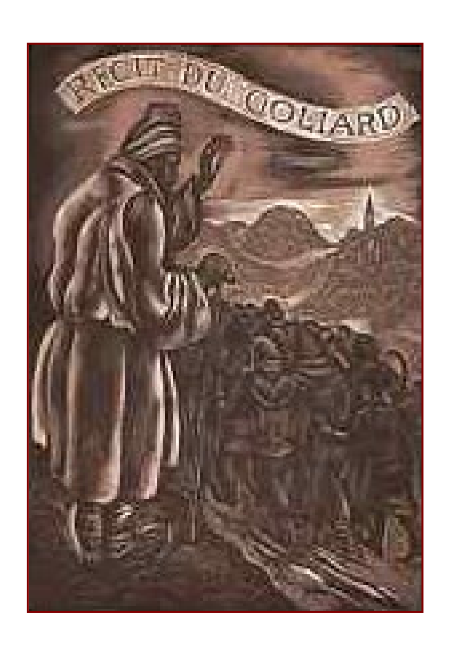
* «Современная французская словесность» (*фр*.).



IRCA
IDEM TEMPUS PUERI SINE RECTORE SINE DUCE DE UNIVERSIS OMNIUM REGIONUM VILLIS ET CIVITATIBUS VERSUS TRANSMARINAS PARTES A VIDIS GRESSIBUS CUCURRERUNT, ET DUM QUAERERETUR AB IPSIS QUO CURRERENT RESPONDERUNT : VERSUS JHERUSALEM, QUAERERE TERRAM SANCTAM... ADHUC QUO DE VENERINT IGNORATUR. SED PLURI MI REDIERUNT. A QUIBUS DUM QUAERERETUR CAUSA CURSUS DIXE RUNT SE NESCIRE. NUDAE ETIAM MULIERES CIRCA IDEM TEMPUS NIHIL LOQUENTES PER VILLAS ET CIVITATES CUCURRERUNT..

(Около того времени дети, без начальника и без предводителя, бежали из разных сторон, городов и государств, направляясь в заморские страны и, когда их спрашивали, куда они спешат, они отвечали: в Иерусалим, освобождать Святую Землю... Как они попали туда, неизвестно. Но когда у некоторых, вернувшихся, спрашивали, зачем они шли, они отвечали, что не знают. Также около того времени чрез города и страны пробегали нагие женщины, не произносившие ни одного слова...)

РАССКАЗ ГОЛЬЯРА



Я бедный гольяр, жалкий послушник, скитающийся по лесам и дорогам, выпрашивая, имени Господа Нашего ради, хлеб мой насущный, я видел благочестивое и душеспасительное зрелище и слышал слова малых детей. Знаю, что жизнь моя далеко не святая и что я поддавался искушению под придорожными липами. Братья, дающие мне вина, хорошо видят, что я не слишком привык его пить. Но я не принадлежу к секте калечащих. Есть злые люди, которые выкалывают глаза младенцам и отпиливают им ноги и связывают им руки, чтобы затем выставлять их напоказ и молить о милосердии. Вот почему я был объят страхом, видя всех этих детей. Нет сомнения, Господь Наш защитит их. Я говорю без толку и порядка, ибо я полон радости и веселья. Я смеюсь весне и тому, что я видел. Мой ум не

слишком силен. Я получил свою послушническую тонзуру когда мне было десять лет и я забыл латинские слова. Я похож на кузнечика: прыгаю то туда, то сюда и стрекочу, и иногда я раскрываю разноцветные крылья; и маленькая голова моя прозрачна и пуста. Говорят, что Святой Иоанн питался в пустыне кузнечиками. Для этого нужно было их есть очень много. Но святой Иоанн был человеком совсем не таким, как мы.

Я полон благоговения перед святым Иоанном, ибо он был скитальцем и произносил слова без связи. Мне кажется, что они должны были быть более мягки и нежны. Весна тоже мягкая и нежная в этом году. Никогда не было столько белых и розовых цветов. Луга умыты свежим дождем. Повсюду на плетнях искрится кровь Господа Нашего. Господь Наш — Иисус, цвета лилии, но Его кровь алая. Почему? Я не знаю. Об этом должно быть написано на каком-нибудь пергаменте. Если бы я был сведущ в письме, у меня был бы пергамент и я писал бы на нем. И тогда я бы очень хорошо ел каждый вечер. Я бы ходил в монастыри молиться за умерших братьев и записывал бы их имена на своем свитке. Я бы переносил мой список из одного монастыря в другой. Это вещь, которая нравится нашим братьям. Но я не знаю имен моих покойных братьев. Может быть, Господь Наш тоже не хочет вовсе знать их имен. Мне показалось, что все эти дети не имеют имен. И не может быть сомнения, что Господь Наш, Иисус, любит их. Они заполняли дорогу, точно рой белых пчел. Я не знаю, откуда они шли. Это были совсем маленькие пилигримы. У них были ореховые и березовые посохи. На плече у каждого был крест. И все эти кресты были разного цвета. Я видел меж ними зеленые, которые, должно быть, были сшиты из листьев. Эти дети — дикие и невежественные. Они бредут неизвестно к какой цели. Они веруют в Иерусалим. Я думаю, что Иерусалим далеко, а Наш Господь должен быть ближе к нам. Они не дойдут до Иерусалима. Но Иерусалим при дет к ним. Как ко мне. Цель всех святых дел состоит в радости и весельи. Господь Наш здесь, на этом багряном шипе, на

моих устах и в моем убогом слове. Ибо я думаю о Нем, и Его гробница в моей мысли. Аминь.

Я лягу спать здесь на солнце. Это святое место. Стопы Господа Нашего освящают все места. Я буду спать. Пусть Иисус пошлет сон всем этим маленьким белым детям, несущим крест. Право, я говорю это Ему. Меня очень клонит ко сну. Я говорю это Ему от души, потому что, может быть, Он их вовсе не видел, а Он должен заботиться о малых детях. Полдневный час тяготеет надо мною. Все вещи белы. Да будет так. Аминь.

РАССКАЗ ПРОКАЖЕННОГО

Если вы хотите понять то, что я вам скажу, знайте, что голова моя покрыта белым капюшоном и что я потрясаю трещоткой из твердого дерева. Я уже не знаю, каково мое лицо, но я боюсь моих рук. Они бегут передо мною, будто чешуйчатые и серо-синие звери. Я хотел бы отрезать их. Мне стыдно перед вещами, которых они касаются. Мне кажется, что они заставляют блекнуть красные плоды, которые я срываю; и бедные корешки, которые я вырываю из земли, как будто засыхают от их прикосновенья.

Domine ceterorum, libera me!*

Спаситель не искупил моего бледного греха. Я забыт до самого воскресения мертвsх. Как жаба, замурованная холодным светом луны в темном камне, я останусь заключенным в мою отвратительную оправу, когда другие встанут со своими ясными и чистыми телами. Domine ceterorum, fac me liberum: leprosus sum**. Я одинок и объят ужасом. Одни лишь зубы мои сохранили свою естественную белизну. Животные пугаются меня, и душа моя хотела бы бежать.

День отворачивается от меня. Вот уже тысяча двести двенадцать лет, как их Спаситель спас их, но надо мною Он не сжалился. Меня не коснулось кровавое копье, прободавшее Его. Быть может, кровь Господа других вылечила бы меня. Я часто мечтаю о крови: зубами своими я мог бы кусать; они непорочны. Если Он не захотел мне дать ее, мне хочется взять ту, которая принадлежит Ему. Вот почему я подстерегал детей, которые шли из Вандомского края через этот лес над Луарой. У них были кресты, и они были покорны Ему. Их тела были Его тела, а Он не уделил мне ни кусочка Своего тела. Я окутан на земле бледным прок-

---

* Господь других, сделай меня свободным.
** Господь других, освободи меня, прокаженного.

лятием. Я выслеживал их, чтоб пососать из шеи одного из Его детей невинной крови. Et caro nova fiet in die irae. В день страшного суда мое тело будет обновленным. Позади других шел ребенок, свежий, с рыжими волосами. Я наметил себе его; я прыгнул внезапно к нему; схватил его за уста своими отвратительными руками. Он был одет лишь в одну грубую, жесткую рубаху; его ноги были босы и глаза оставались спокойны и ясны. Он смотрел на меня без удивления. Мне захотелось еще услышать человеческий голос и, зная, что он не может кричать, я отнял руки от его рта, — он не вытер губ. Его взор, казалось, был устремлен в другой мир.

— Кто ты? — сказал я ему.

— Иоганнес Тевтон, — ответил он, и речь его была кристально чиста и целительна.

— Куда идешь ты? — говорю я еще.

И он ответил:

— В Иерусалим, чтоб завоевать Святую Землю.

Тогда я стал смеяться и спросил его:

— Где находится Иерусалим?

И он ответил:

— Я не знаю.

И я сказал еще:

— Что такое Иерусалим?

И он ответил:

— Это — Наш Господь.

Тогда я снова стал смеяться и спросил:

— Что такое твой Господь?

И он сказал мне:

— Я не знаю: он белый.

Эти слова привели меня в ярость, и я открыл свои зубы под капюшоном и склонился над его свежей шеей. Он не отшатнулся от меня,

— Почему ты не боишься меня? — спросил я его.

И он сказал:

— Почему мне бояться тебя, белый человек?

Тогда крупные слезы брызнули из моих глаз, и я растянулся на земле. Я целовал землю своими ужасными губами и кричал:

— Потому что я прокаженный!

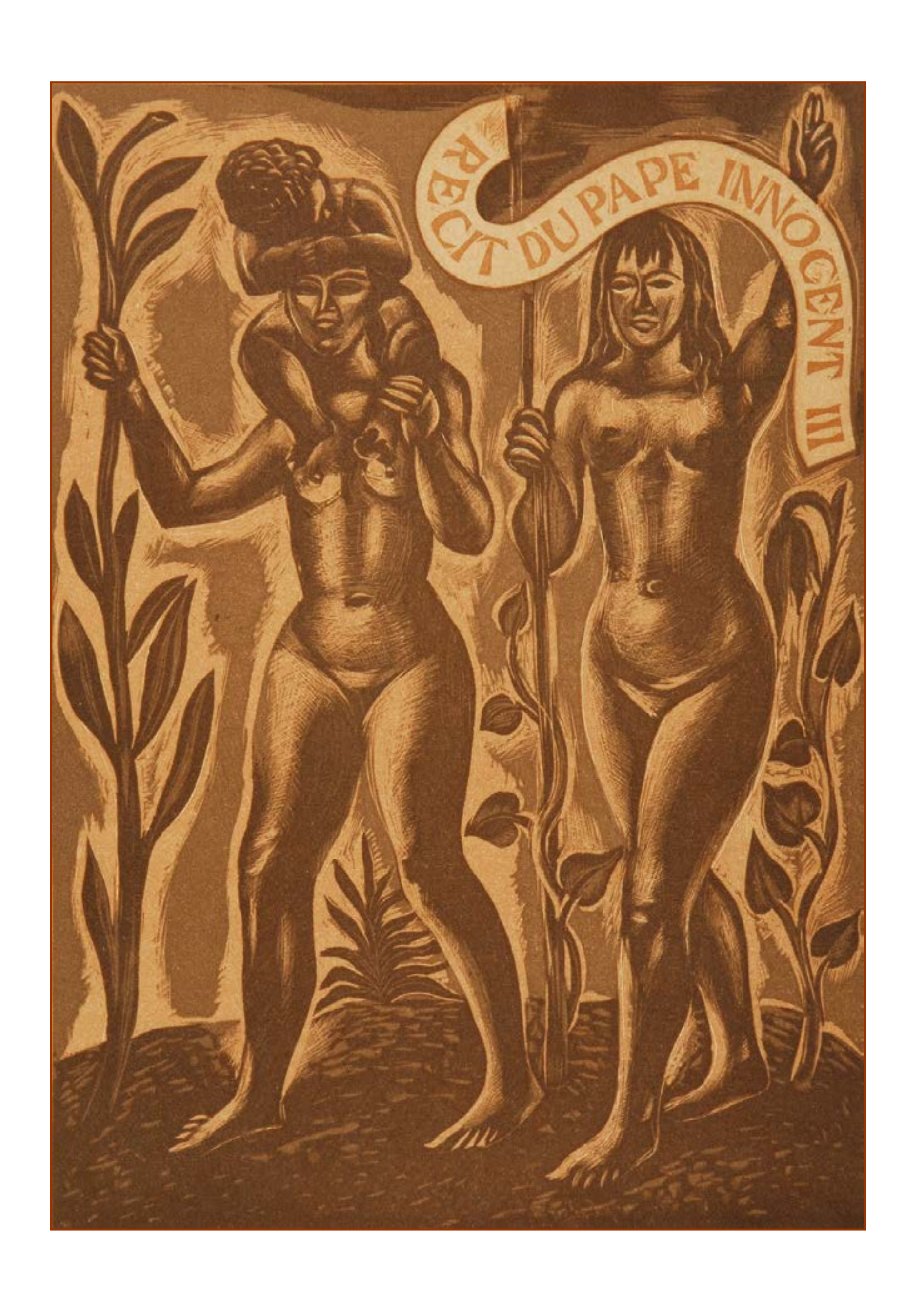
Тевтонский ребенок смотрел на меня и сказал с ясным спокойствием:

— Я не знаю.

Он не боится меня! Он не боится меня! Моя чудовищная белизна для него подобна белизне его Господа. Я взял пучок травы и вытер его уста и руки. И я сказал ему:

— Иди с миром к твоему белому Господу и скажи ему, что он забыл меня.

Ребенок смотрел на меня молча. Я вывел его из чащи этого леса. Он шел без трепета. Я видел, как его рыжие волосы исчезли вдали в лучах солнца. Domine infantium, libera me! Пусть звук моей трещотки донесется до тебя, как чистый звон колоколов! Владыка неведающих, избави меня!


RECIT DU PAPE INNOCENT III

РАССКАЗ ПАПЫ ИННОКЕНТИЯ III

Вдали от ладана и риз, мне очень легко говорить с Богом, в этой комнате моего дворца, со стен которой сошла позолота. Я прихожу сюда размышлять о моей старости, не поддерживаемый никем. Во время мессы дух мой возвышается и тело выпрямляется; искрящийся блеск святого вина наполняет мои очи и мысль умащается драгоценными маслами; но в этом уединенном месте моей базилики, я могу согнуться от моей земной усталости. Ecce homo! Ибо Господь, должно быть, не слышит, как следует, голос своих священников сквозь высокопарность булл и пастырских посланий; и, несомненно, ни пурпур, ни драгоценности, ни картины не угодны ему; но в этой маленькой келье, быть может, сжалится он над моим бесхитростным лепетом. Господи, я очень стар и вот я перед Тобою одетый в белое; имя мое Иннокентий — Невинный, и Ты ведаешь, что я не ведаю ничего. Прости мне мое папство, ибо оно было учреждено и я несу на себе его бремя. Не я ввел эти почести и блеск. Я предпочитаю смотреть на Твое солнце через это круглое окно, чем в великолепных отражениях расписных стекол моих витражей. Позволь мне стонать, как и другому старцу и обращать к Тебе это бледное и морщинистое лицо, которое я с великим трудом удерживаю над волнами вечной ночи. Перстни соскальзывают с моих похудевших пальцев, как убегают последние дни моей жизни.

Бог Мой! я здесь Твой заместитель и я протягиваю к Тебе мою руку, полную чистого вина Твоей веры. Есть великие преступления. Есть величайшие преступленья. Мы можем дать им отпущение. Есть великие ереси. Есть величайшие ереси. Мы должны их карать беспощадно. В сей час, когда я преклоняю свой колени, белый, в этой белой келье, лишенной позолоты, глубокая тоска сжимает мое сердце, Господи, оттого что я не знаю, входят ли преступления и ереси в торжественную область моего папства или

в этот маленький кружок солнечного света, в котором старик просто сложил свои руки. И еще тревожит меня то, что касается Твоей гробницы. Она все еще окружена неверными. Никто не смог еще отнять ее у них. Никто не направил креста Твоего к Святой Земле; но мы погружены в оцепенение. Рыцари сложили свое оружие и короли не умеют больше повелевать. А я, Господи, я виню себя и ударяю себя в грудь: я слишком слаб, я слишком стар.

Теперь, Господи, выслушай этот дрожащий шепот, несущийся к Тебе из этой маленькой кельи моей базилики и подай мне совет. Мои служители принесли мне странные вести с разных сторон от земель Фландрской и Германской, до городов Марсели и Генуи. Начинают появляться доныне неизвестные секты. Видели бегущих по городам и местечкам голых женщин, не произносивших ни слова. Эти немые бесстыдницы указывали на небо. Многие безумцы на площадях проповедуют разрушение и предвещают погибель. Среди отшельников и бродячих послушников волнение и тревожные слухи.

И, не знаю я, какими чарами, больше десяти тысяч детей были выманены из своих домов. Семь тысяч их в пути и каждое из них несет крест и посох. Им нечего есть; у них нет оружия; они беззащитны, ни к чему не способны, и нам стыдно их. Они невежественны и не знают настоящей религии. Мои служители расспрашивали их. Они отвечают, что идут в Иерусалим, чтоб овладеть Святою Землею. Мои служители говорили им, что не смогут переправиться через море. Они ответили, что море расступится и высохнет, чтоб пропустить их. Добрые родители, благочестивые и благоразумные, стараются удержать их.

Они разбивают ночью замки, и никакие стены не могут быть им преградой. Среди них много сыновей знати и куртизанок. Великую жалость вызывают они. Господи, все эти невинные младенцы падут жертвою кораблекрушения и почитателей Магомета. Я уже вижу, как Багдадский султан поджидает их в своем дворце. Я трепещу при мысли, что моряки могут овладеть их телами, чтобы потом продать их.

Господи, позволь мне говорить с Тобою согласно основам религии. Этот крестовый поход детей совсем не благочестивое деяние. Он увеличивает число бродяг, скитающихся у опушки единой истинной и признанной веры. Наши священники не могут покровительствовать ему. Мы должны думать, что сии несчастные создания одержимы Лукавым.

Они устремляются стадом к бездне, как свиньи, бросившиеся с крутизны. Ты знаешь, Господи, что Лукавый с радостью овладевает детьми. Некогда принял он образ ловца крыс, чтоб чарующими звуками своей свирели увлечь за собою всех детей местечка Гамелина. Одни говорят, что все эти несчастные были утоплены в реке Везере; другие — что он заключил их в недра горы. Страшись, дабы не повел Сатана всех этих детей на муки к тем, которые не имеют нашей веры. Господи, Ты знаешь, что нехорошо, чтоб вера обновлялась. Лишь только проявилась она в горящем кусте, Ты заключил ее в скинию завета. И когда слетела она с Твоих уст на Голгофе, Ты повелел заключить ее в дароносицы и потиры. Эти маленькие пророки потрясут основы Твоей Церкви. Надо запретить им это. Вопреки ли слугам Твоим, Тебе себя посвятившим, что износили в служении тебе свои стихари и епитрахили, что ценою мучительной борьбы устояли против искушений, дабы снискать Тебя, — им ли вопреки примешь Ты тех, что не ведают, что творят! Мы должны пускать детей приходить к Тебе, но лишь путем веры Твоей. Господи, я говорю с тобою согласно Твоим постановлениям. Эти дети погибнут. Не сверши, чтобы при Инокентии-Невинном произошло новое избиение невинных младенцев.

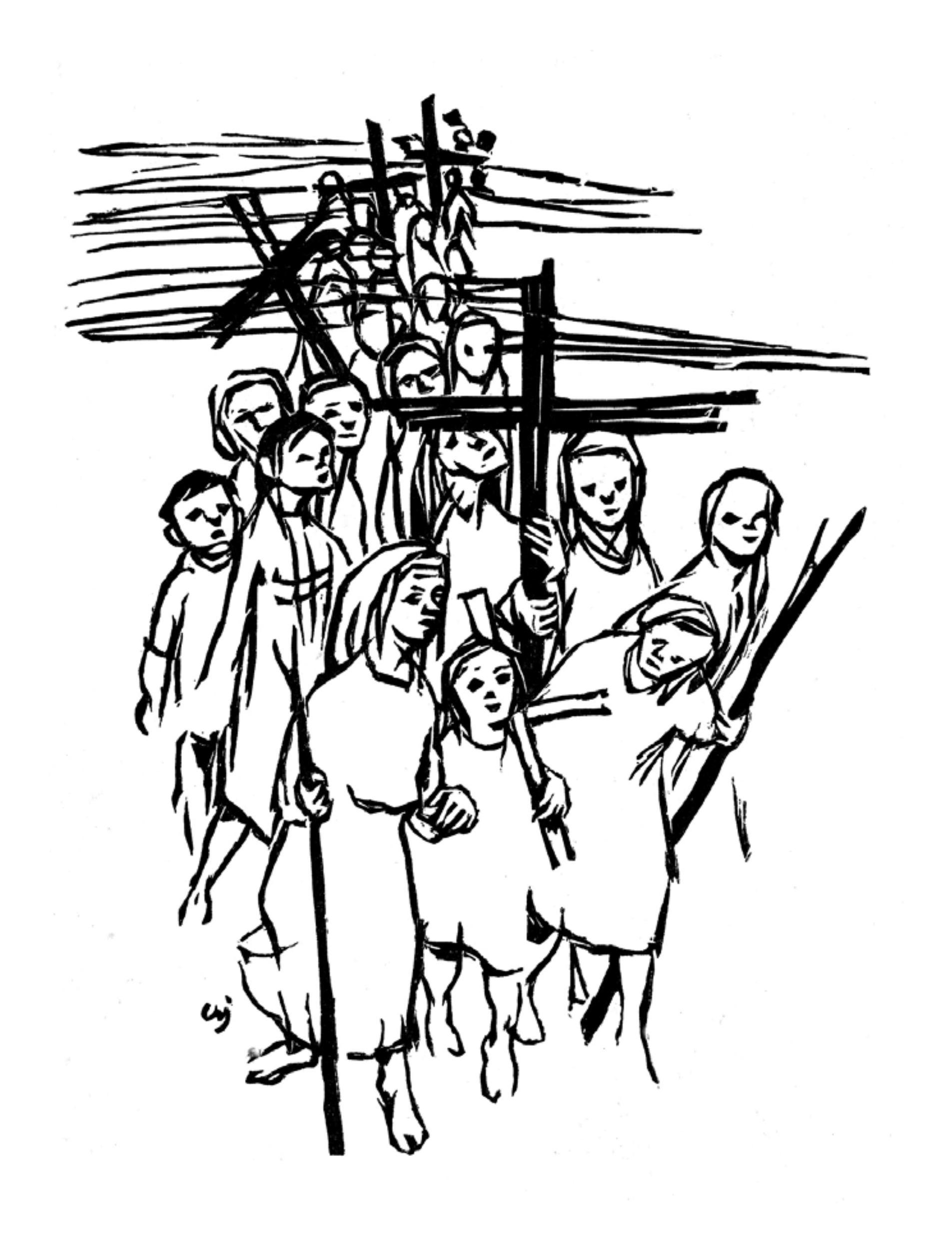
Прости мне теперь, Бог мой, то, что из-под тиары я просил у тебя совета. Трепет старости моей охватывает меня снова. Взгляни на мои бедные руки. Я человек уже очень старый. Моя вера уже не вера младенцев. Позолота стен этой кельи слезла от времени. Они белы. Моя ряса тоже бела и мое высохшее сердце чисто. Я говорил согласно предписаниям Твоим. Есть великие преступления. Есть величайшие преступленья. Есть великие ереси. Есть вели-

чайшие ереси. Голова моя колеблется от слабости: быть может, не нужно ни карать, ни прощать. Прошедшая жизнь заставляет нас колебаться в наших решениях. Я никогда не видал чуда. Открой мне. Чудо ли это? Какое знамение дал Ты им? Наступили ли великие времена? Хочешь ли Ты, чтобы человек, такой старый, как я, был подобен в своей белизне твоим непорочным малым детям? Семь тысяч! Хоть вера их невежественна, накажешь ли Ты неведение семи тысяч невинных младенцев? Я, я тоже Невинный-Иннокентий. Господи, я невинен, как и они. Не карай меня в моей дряхлой старости. Долгие годы научили меня, что это стадо детей н е м о ж е т иметь успеха. Но все же, Господи, не чудо ли это? Моя келья тиха и покойна, как и во время других размышлений. Я знаю, что вовсе не нужно молить Тебя, чтобы Ты открылся; но я, с высоты моей великой старости, с высоты папства Твоего, я молю Тебя. Научи меня, ибо не ведаю я. Господи, они Твои невинные младенцы. И я, Невинный-Иннокентий, не ведаю я, не ведаю я.

РАССКАЗ ТРЕХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Мы трое, Николай, который совсем не умеет говорить, Ален и Дени, мы отправились в путь, чтоб идти в Иерусалим. Уже давно мы идем. То белые голоса позвали нас ночью. Они звали всех маленьких детей. Они были, словно голоса птичек, умерших зимою. И сначала мы видели много бедных птичек, лежащих на мерзлой земле, много маленьких птичек, у которых были красные шейки. Потом мы видели первые цветы и первые листья и мы сплели из них кресты. Мы пели по деревням, как мы поем всегда на Новый год. И все дети бежали к нам. И мы двигались вперед, как войско. Были люди, которые нас проклинали, потому что они вовсе не знают Господа. Были женщины, которые удерживали нас за руки и расспрашивали нас, и покрывали наши лица поцелуями. А еще были добрые души, которые приносили нам деревянные миски, теплое молоко и фрукты. И все жалели нас. Они ведь не знали, куда мы идем и не слышали голосов.

На земле есть темные леса, и горы, и тропинки, поросшие терновником. А за землею находится море, через которое мы скоро переправимся. А за морем находится Иерусалим. У нас нет ни начальников, ни проводников. Но все дороги для нас хороши. Хотя Николай не умеет говорить, но он ходит как и мы, Ален и Дени, и все земли одинаковы и одинаково опасны для детей. Везде есть темные леса, и реки, и горы, и шипы. Но везде голоса с нами. Здесь есть ребенок, которого зовут Евстахием и который родился с закрытыми глазами. Он держит всегда руки протянутыми вперед и улыбается. Мы ничего не видим больше того, что видит он. Девочка ведет его и несет его крест. Ее зовут Аллис. Она никогда не говорит и никогда не плачет; ее глаза всегда смотрят на ножки Евстахия, чтоб поддержать его, если он поскользнется. Мы их любим обоих. Евстахий не сможет увидеть святые лампады над гробницей. Но Аллис возьмет его руки и прикоснется ими к плитам гроба.



О, как чудны вещи на земле! Мы не помним ничего, потому что мы никогда ничему не учились. Но все-таки мы видели старые деревья и красные скалы. Иногда мы очень долго ходим в темноте. Иногда мы ходим до вечера по светлым лугам. Мы кричали имя Иисус в уши Николая и он его хорошо знает. Но он не умеет его сказать. Он радуется с нами тому, что мы видим. Ибо губы его могут открываться для радости и он гладит нас по плечу. Итак, они вовсе не несчастны: Аллис заботится о Евстахии и о нас, а мы, Ален и Дени, заботимся о Николае.

Нам говорили, что мы встретим в лесах леших и оборотней. Это ложь. Никто нас не пугал; никто нам не сделал зла. Отшельники и больные приходят смотреть на нас, и старые женщины зажигают для нас свет в хижинах. Для нас звонят в колокола церквей. Крестьяне подымаются с борозд, чтобы взглянуть на нас. Животные тоже смотрят на нас и не убегают от нас. И за то время, как мы идем, солнце стало жарче греть и мы собираем уже другие цветы. Но все стебли могут одинаково сплетаться и наши кресты всегда свежи. В нас большая надежда, и скоро, наверное, мы увидим синее море. А за синим морем — Иерусалим. И Господь позволит прийти к своему гробу всем маленьким детям. И белые голоса будут радоваться ночью.

РАССКАЗ ФРАНСУА ЛОНГЖУ, ПИСЦА

Сегодня, пятнадцатого числа месяца сентября, лета от воплощения Господа Нашего тысяча двести двенадцатого, пришло в контору господина моего, магистра Гуго Ферре, много детей, требуя, чтоб их переправили через море, дабы они узрели Гроб Господень. И понеже упомянутый Ферре не имеет достаточного числа торговых судов в Марсельском порте, он приказал мне обратиться к магистру Гийому Порку, дабы последний пополнил их число. Магистры Гуго Ферре и Гийом Порк поведут суда до Святой Земли ради любви к Господу Нашему, Иисусу Христу. Ныне расположено вокруг града Марсели более семи тысяч детей, из коих многие говорят на чужеземных языках. И господа старшины, справедливо опасаясь недостатка в провианте, собрались в городской ратуше, куда, после совместного обсуждения дела, они призвали вышеупомянутых магистров, дабы увещать их и умолять отправить суда с наибольшею поспешностью. Море в сие время недостаточно благоприятно по причине равноденствия, но следует принять во внимание, что столь великий наплыв мог бы стать опасным для нашего доброго города, тем более, что дети сии изголодались от долгого пути и не ведают, что творят. Я велел крикнуть морякам в гавани и снарядить суда. К вечеру будет возможно пустить их в море. Толпа детей не находится в городе, но бегает по берегу и собирает раковины на память о странствии, и говорят, что они удивляются морским звездам и думают, что они живыми упали с неба, дабы указывать им путь к Господу. И о сием чрезвычайном событии вот что я имею сказать.

Во-первых, желательно, чтобы магистры Гуго Ферре и Гийом Порк вывезли возможно скорее из нашего града сию чужестранную орду; во-вторых, что зима была очень жестока в нынешнем году и земля посему очень скудна, что достаточно известно нашим купцам; в-третьих, что Церковь не была уведомлена о намерении сей орды, иду-

щей с Севера, и что она не станет мешаться в безумное предприятие ребяческого полчища (turba infantilum). И следует похвалить магистров Гуго Ферре и Гийома Порка столь же за любовь к нашему доброму граду, сколь и за их преданность Господу Богу, которые они проявили, посылая свои суда и провожая их в сие время равноденствия, подвергаясь великой опасности нападения со стороны неверных, разбойничающих на нашем море на своих алжирских и буджийских фелуках.

РАССКАЗ КАЛАНДАРА

Хвала Богу! Да славится Пророк, который позволил мне быть бедным и скитаться по городам, призывая имя Господне! Трижды да будут благословенны святые сотоварищи Магомета, кои учредили божественный орден, к которому я принадлежу! Ибо я подобен Ему, когда он был изгнан, побиваемый камнями, из гнусного города, имени которого я не хочу назвать, и укрылся в винограднике, где раб-христианин сжалился над ним и дал ему винограду и проникся словами веры на склоне дня. Велик Бог! Я прошел города Моссул, и Багдад, и Басру, я знавал Сала-ед-Дина (Бог да хранит его душу) и его брата Султана Сейф-ед-Дина, и я созерцал Повелителя Верных. Я живу очень хорошо той чуточкой риса, которую я получаю в милостыню, и той водой, что мне наливают в мою тыкву. Я поддерживаю чистоту моего тела. Но самая великая чистота царит в душе. Написано, что Пророк, до исполнения своей миссии, пал в глубоком сне на землю. И два белых мужа спустились по правую и по левую сторону его и остановились там. И белый муж слева вскрыл ему грудь золотым ножом и вынул оттуда сердце, из которого он выжал черную кровь. А белый муж справа вскрыл ему живот золотым ножом и вынул его внутренности и очистил их. И они положили внутренности на место и с тех пор Пророк был чист, чтоб проповедовать веру. Это сверхчеловеческая чистота, свойственная почти только ангельским существам. Но кроме того, дети тоже чисты. Такова была чистота, которую хотела зачать прорицательница, когда она увидела сияние вокруг головы отца Магомета и когда она хотела соединиться с ним. Но отец Пророка соединился с своей женой Аминой, и сияние исчезло с его чела и таким образом прорицательница узнала, что Амина зачала чистое существо. Хвала Богу очищающему! Здесь, под навесом этого базара, я могу отдохнуть и приветствовать прохожих. Здесь есть богатые торговцы тканями и драгоценностями, си-

дящие на корточках. Вот кафтан, который, наверное, стоит тисячу динариев. Мне-то вовсе не нужно денег, и я свободен, как бродячая собака. Хвала Богу! Теперь, когда я в тени, я вспоминаю начало моей речи. Во-первых, я говорю о Боге, кроме которого нет Бога, и о нашем Святом Пророке, который дал нам откровение веры, ибо таково начало и источник всех мыслей, выходят ли они из уст или начертаны пером. Во-вторых, я рассматриваю чистоту, которой Бог наделил святых и ангелов. В третьих, я размышляю о чистоте детей. Действительно, я только что видел большое число христианских детей, купленных Повелителем Верных. Я их видел на большой дороге. Они шли, точно стадо баранов. Говорят, что они пришли из Египетской земли и что корабли Франков высадили их туда. Они были одержимы Сатаной и пытались переправиться через море, чтоб идти в Иерусалим. Хвала Богу! Не было допущено, чтобы такая великая жестокость свершилась. Ибо эти бедные дети вымерли бы в дороге, не имея ни помощников, ни съестных припасов. Они совершенно невинны. И при виде их я бросился на землю и я бил о землю лбом, громко славя Господа. Вот как выглядели эти дети. Они были одеты в белое, и на их платье были пришиты кресты. Они, по-видимому, совсем не знали, где они находятся, и, казалось, вовсе не были огорчены. Их очи постоянно устремлены в даль. Я заметил одного из них, который был слеп и которого держала за руку девочка. У многих рыжие волосы и голубые глаза. Это Франки, принадлежащие Римскому императору. Они в ослеплении своем обожают пророка Иисуса. Заблуждение этих Франков очевидно. Во-первых, доказано книгами и чудесами, что нет другого учения, кроме учения Магомета. Затем, Господь позволяет нам ежедневно славить его и вымаливать наш хлеб насущный, и он повелевает верным покровительствовать нашему ордену. Наконец, он не дал способности предвидения этим детям, отправившимся в далекую страну, искушенным Иблисой, и не проявил себя, чтобы их предостеречь. И если бы они не попали, к счастью, в руки Верных, они были бы схвачены Огнепоклонниками и закованы в цепи в глубоких погребах.

И эти проклятые принесли бы их в жертву своему обжорливому и гнусному идолу. Да славится наш Бог, который делает прекрасно все, что он делает, и покровительствует даже тем, что не веруют в него. Велик Бог! Я пойду сейчас попросить мою долю риса в лавку этого ювелира и заявить мое презрение к богатству. Если угодно Богу, все эти дети верою будут спасены.

РАССКАЗ МАЛЕНЬКОЙ АЛЛИС

Я не могу уже хорошо ходить, потому что мы находимся в ужасно жаркой стране. Нас привезли два злых человека из Марсели. И раньше нас бросало по морю среди черного дня и среди небесных огней. Но мой маленький Евстахий вовсе не знал страха, потому что он не видел ничего, и я держала его за обе руки. Я его очень люблю и пришла сюда из-за него. Я не знаю, куда мы идем. Мы идем уже так давно. Нам говорили о городе Иерусалиме, что за морем, и о Господе нашем, что будет нас там ждать. И Евстахий хорошо знает Господа Нашего Иисуса, но он совсем не знает, что такое Иерусалим, ни что такое город, ни что такое море. Он убежал, чтоб послушать голоса, а он их слышал каждую ночь. Он слышал их ночью, потому что тогда было тихо: ведь он не отличает ночи от дня. Он расспрашивал меня об этих голосах, но я ничего не могла ему сказать. Я ничего не знаю и я страдаю только ради Евстахия. Мы шли возле Николая, Алена и Дени. Но они сели на другой корабль, и все корабли исчезли, когда взошло солнце. Боже! что с ними? Мы их отыщем, когда придем к нашему Господу. Это еще далеко. Говорят о каком-то великом царе, который велел привести нас к себе и который владеет Иерусалимом. В этой стране все бело, и дома и одежды, и лица женщин закрыты вуалью. Бедный Евстахий не может видеть этой белизны, но я ему говорю о ней и он радуется. Он говорит, что это знамение конца. Господь Иисус — белый. Маленькая Аллис очень устала, но она держит Евстахия за руку, чтоб он не упал и ей некогда думать о своей усталости. Мы отдохнем сегодня вечером, и Аллис будет спать, как всегда, возле Евстахия и если голоса еще не покинули нас, она попробует их услышать светлой ночью. И она будет держать Евстахия до самого белого конца великого странствия, потому что она должна показать ему Господа. И, наверное, Господь сжалится над терпением

Евстахия и даст ему увидеть Себя. И, может быть, тогда Евстахий увидит маленькую Аллис.

РАССКАЗ ПАПЫ ГРИГОРИЯ IX

Вот оно передо мною, море, прожорливое и кажущееся невинним и голубым. Его складки нежны и мягки, и оно окружено белой каймой, точно божественное одеяние. Это жидкое небо, и звезды его — живые. Я размышляю о нем на этом престоле из скал, куда я велел перенести себя из моих носилок. Воистину, оно в середине земель христианских. В него втекает святая вода, в которой Предтеча омыл грехи. Над берегами его склонялись все святые лица и оно колыхало их прозрачные отраженья. Великое, таинственное, избранное, без прилива и без отлива, подобное драгоценному жидкому камню, вправленному в перстень земной, к тебе обращаюсь я с вопросом и просьбой. О, Средиземное море, отдай мне детей моих! Зачем отняло ты их у меня?

Я их совсем не знал. Мою старость не ласкало их свежее дыханье. Они не приходили молить меня своими нежными полуоткрытыми устами. Одни, точно маленькие бродяги, они устремились к обетованной земле и были уничтожены. Из Германии, из Фландрии, из Франции, из Савойи, из Ломбардии они пришли к твоим коварным волнам, святое море, чуть слышно лепеча слова обожания и восторга. Они дошли до города Марсели, они дошли до города Генуи. И ты понесло их в кораблях на своей широкой, мохнатой от пены, спине; и ты повернулось и протянуло к ним свой зеленые руки и взяло их себе. А другим ты изменило, унеся их к неверным, и теперь они вздыхают в чертогах Востока, пленники обожателей Магомета.

Некогда гордый азиатский царь велел сечь тебя розгами и заключить тебя в цепи. О, Средиземное море! Кто простит тебе? Ты глубоко виновно. Тебя обвиняю, тебя одно лишь, обманчиво чистое и светлое, злой мираж, дурное зеркало неба, я призываю тебя к суду перед лицом Всевышнего, от которого зависит все, что сотворено в мире. Священное море, что сделало ты с нашими детьми? Подними к Нему свое синее лицо; протяни к нему свои дро-



жащие пенистые пальцы; смейся своим бесконечным пурпурным смехом; говори своим неустанным рокотом — и отдай отчет Ему.

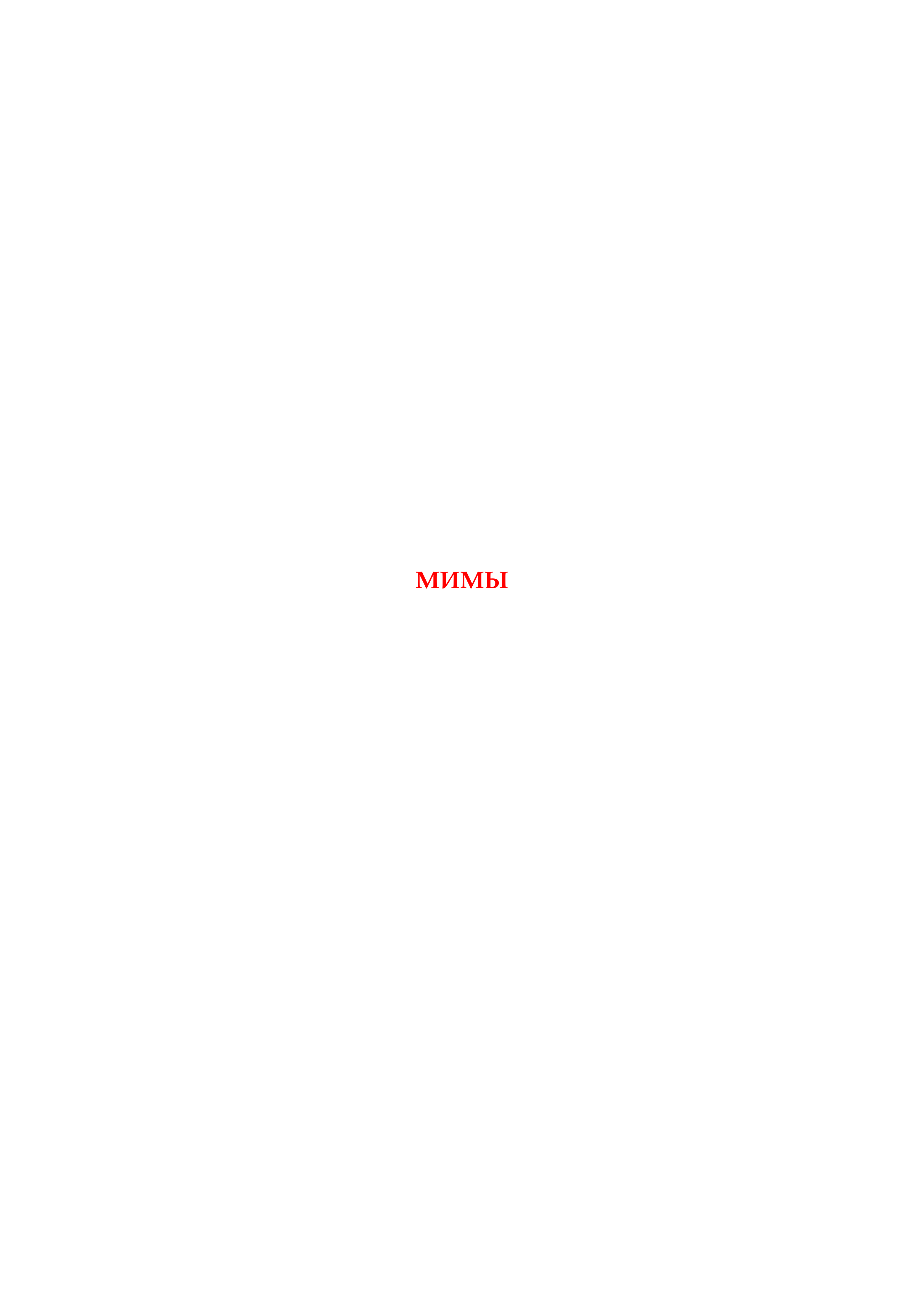
Немы твои белые уста, что у ног моих испускают свой дух на песке, — ты не говоришь ничего. В моем римском дворце есть старинная келья со слезшей позолотой, которую время сделало белой, как стихарь. Первосвященник Иннокентий любил удаляться в эту келью. Говорят, будто там он долго размышлял о детях и их вере и просил у Господа знамения. Здесь, с высоты этого трона из скал, в беспредельном просторе, я заявляю, что первосвященник Иннокентий сам имел веру ребенка и что напрасно он потрясал седые волосы на своей усталой главе. Я гораздо старше Иннокентия; я — самый старый из заместителей Господа, которых он поставил здесь на земле, и я только начинаю понимать. Бог не являет себя никогда. Разве он был с своим сыном на Масличной горе? Разве не покинул он его в смертельной тоске? О, какое ребяческое безумие призывать его на помощь! Всякое зло и всякое несчастие исходит только от нас самих. Он питает полное доверие к творению, вылепленному его руками. Ты обмануло его доверие. Божественное море, пусть не удивляет тебя моя речь. Всё и все равны перед Господом. Великий разум человека в бесконечности не стоит больше маленького лучистого глаза одного из твоих животных. Бог с одинаковым вниманием относится к песчинке и к императору. Золото зреет в своей подземной жиле так же безупречно, как монах размышляет в своем монастыре. Части мира одинаково виновны, если они не следуют по пути добра; ибо они исходят от Него. В его очах нет ни камней, ни растений, ни животных, ни людей, есть только творения. Я вижу все эти белеющие головы, выплывающие на верхушки твоих волн; они появляются лишь на секунду в лучах солнца; они могут быть осужденные или избранные. Преклонная старость научает гордость и проясняет веру. Мне так же жаль этой маленькой перламутровой раковины, как и себя самого.

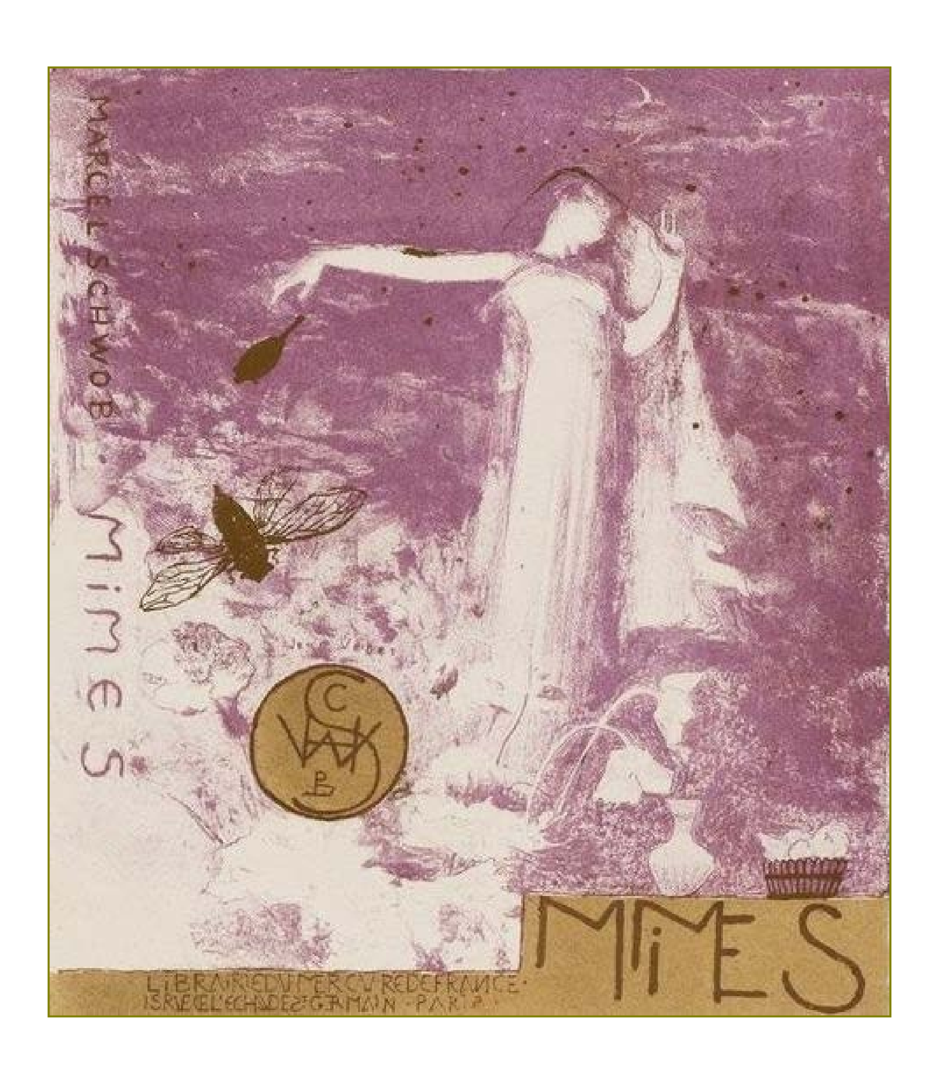
Вот почему я обвиняю тебя, прожорливое море, поглотившее моих малых детей. Вспомни азиатского царя, кото-

рым ты было наказано. Но то был лишь столетний царь. Он прожил недостаточное число лет. Он не в состоянии был постигнуть мировые дела. Я не стану наказывать тебя. Ибо моя жалоба и твой рокот стихнут в одну и ту же минуту у ног Всевышнего, как шум твоих брызг стихает у моих ног. О, Средиземное море! Я прощаю тебя и отпускаю грехи твои. Я дарю тебе святейшее отпущение. Иди и больше не греши. Я, как и ты, виновен в проступках, которых я не знаю. Ты неустанно исповедуешься на песчаном берегу тысячами своих стонущих уст, и я исповедуюсь перед тобою, великое священное море, моими увядшими устами. Мы исповедуемся друг перед другом. Отпусти мне мои грехи, и я отпущу тебе твои. Вернем снова себе неведение и непорочность. Да будет так.

Что сделаю я на земле? Будет воздвигнут искупительный памятник, памятник веры, что не ведает. Грядущие века должны знать наше благочестие и не отчаиваться. Бог вел к себе малых детей крестовых, помощью святого греха моря; невинные младенцы были перебиты; тела невинных младенцев найдут приют. Семь кораблей утонули у острова Заточника; я построю на том острове церковь во имя Новых Истинно-Избиенных младенцев и я велю учредить при ней двенадцать пребендариев. И ты отдашь мне тела моих детей, море невинное и священное; ты понесешь их к песчаным берегам острова; и пребендарии положат их в склепы храма; и они зажгут над ними неугасаемые лампады, в которых будут гореть святые масла, и будут показывать благочестивым путешественникам все эти маленькие белые косточки, лежащие в ночи.




МИМЫ


MARCEL SCHWOB
MIMES
MIMES
LIBRAIRIE DU MERCURE DE FRANCE

Эти мимы

посвящены

АЛЬФОНСУ ДОДЕ

Так, каков он ни есть, прими мой сборник!
А твоим покровительством, о Дева,
Пусть он век не один живет в потомстве.

ПРОЛОГ

Поэт Геронд, тот, что жил на острове Косе при добром царе Птолемее, послал ко мне бледную тень из Аида, что в здешней жизни любила. И комната моя наполнилась миррой; и легкое дуновенье обдало прохладой мою грудь; а сердце мое стало подобно сердцу мертвых: я забыл свою настоящую жизнь.

Любящая тень тряхнула складками своей туники, и оттуда выпали: сицилийский сыр, легкая корзинка со смоквами, маленькая амфора черного вина и золотой кузнечик. Мне захотелось писать мимы*, и ноздри мои защекотал потный запах свежей шерсти, и жирный дым агригентских кухонь, и острый аромат сиракузских рыбных лотков. По белым улицам города прошли предо мною повара с высоко подобранным платьем, и сладкоголосые флейтщицы, и сводни с морщинистыми скулистыми лицами, и работорговцы с набитыми деньгами мошнами. По сизым тенистым пастбищам бродили, свистя на свирелях, пастухи с тростником, лоснящимся от воска, и молочницы с венками из рыжеватых цветов на волосах.

Но любящая тень совсем не слушала моих стихов. Она повернула голову к ночи и высыпала из складок своей туники золотое зеркало, зрелые маки, венок из асфоделей, и подала мне стебель тростника, растущего у берегов Леты. Во мне загорелась вдруг жажда мудрости и познания вещей земных. И вот я увидел в зеркале дрожащее прозрачное отраженье флейт, кубков, высоких остроконечных шапок, свежие лица с излучистыми губами, и мне открылся темный смысл вещей. Я склонился над маками и устами прильнул к асфоделям; сердце мое омылось забвеньем, а душа взяла за руку тень, чтоб сойти с нею к Тенару.

---

* Вид драмы или комедии, изображавшей характеры и сцены из обыденной жизни.

Медленно плывя, бледная тень долго вела меня средь черной растительности Аида, наши ноги становились желтыми от цветов шафрана. Мне стало вдруг жаль островов средь пурпурного моря; песчаных сицилийских берегов, на которые набегают, точно пряди волос, морские волны; белого света солнца. Любящая тень поняла мои желанья. Мрачной рукою своей она коснулась моих очей, и я увидел Дафниса и Хлою, поднимавшихся к лесбосским полям. И я почувствовал, как им больно средь ночи земной вкушать горечь второй жизни. Добрая богиня даровала стан лавра Дафнису, а Хлое грацию зеленой ивы. И я познал покой растений и блаженство недвижных стеблей.

Тогда я послал поэту Геронду новые мимы, благоухающие ароматом женщин острова Коса, и ароматом бледных цветов Аида, и ароматом гибких и диких трав земли. Так было угодно той бледной тени Аида.

МИМ I: ПОВАР

Неся в одной руке серебристого морского угря, а в другой руке кухонный нож с широким лезвием, я возвращаюсь домой. Он висел, привязанный за жабры, над лотком торговки, надушенной морским маслом, с лоснящимися волосами. За десять драхм я скупил сегодня рыбный рынок: кроме моего угря, там была только мелкая камбала да тощие речные угри и сардины, которых не дали бы и гоплитам с валов. Вот, я вскрою сейчас его; он извивается, точно кожаный ремень; я вымочу его в рассоле и ложку пообещаю детям, что разведут огонь.

— Принесите дров! дуйте на уголья: они из тополевого дерева; от их искр у вас не будут слезиться глаза. Глядите, — пустая ваша башка, как вздутый пузырь этого угря: — бросить мне его на землю, что ли? Подайте-ка мне плетенку. Ну вас к воронам! Этот шалфей никуда не годится, Главкон: я велю им набить твой рот, когда ты будешь висеть на кресте. Чтоб вы лопнули, как свиные брюха, напичканные жирной мукой! Колец! Крюков! А ты, хоть ты лижешь ступку до самого дна, ты оставил в ней вчерашний чеснок! Чтоб тебя пест придушил и не дал тебе ответить!

У этого угря будет нежное мясо. Его будут есть знатные и изящные гости: Аристипп, что приходит, увенчанный розами, Гил, у которого даже сандалии окрашены красным порошком, и мой господин, Парней, с застежками из чеканного золота. Знаю: они будут бить в ладоши, вкушая его, и позволят мне остаться, прислонившись к дверям, чтоб видеть гибкие ноги танцовщиц и цитристок.



МИМ II: ЛЖЕТОРГОВКА

α. Я велю тебя сечь, да, сечь розгами. Кожа твоя покроется пятнами, как плащ кормилицы. — Рабы, уведите ее; бейте ее сначала по животу; переверните ее, как камбалу, и бейте ее по спине! Слушайте, что она говорит; понимаете вы ее язык?— Не перестанешь ты, несчастная?

β. Что же я совершила, что меня отдают сикофантам?

α. Это кошка, что ничего не украла; она хочет спокойно переваривать свой обед и потом, потягиваясь, уснуть сладким сном. — Рабы, унесите эту рыбу в своих корзинах. — Почему ты продавала миног, несмотря на то, что власти запретили это?

β. Я не знала об этом запрете.

α. Разве на рынке глашатай не объявил об этом громко, призвав всех к молчанию?

β. Я не слышала призыва к молчанию.

α. Ты издеваешься, бездельница, над порядками города. — Эта женщина стремится к тирании. Разденьте-ка ее, я посмотрю не прячет ли она какого-нибудь Пизистрата. — А! А! ты была только что женщиной. Поглядите-ка, поглядите-ка. Вот уж, по правде, торговка совсем нового рода. Это рыбам ты нравилась больше в таком виде, или покупателям? — Оставьте этого молодца голым: гелиасты уж решат, достоин ли он наказания за то, что продавал с лотка запрещенную рыбу, одетый женщиной.

β. О сикофант, пожалей меня и выслушай. Я до смерти люблю одну девушку, которая содержится под присмотром у работорговца с Длинных стен. Он хочет продать ее за

двенадцать мин, а отец мой не хочет давать денег. Я слишком много шатался вокруг дома, и ее заперли, чтоб не дать мне ее увидеть. Сейчас она придет со своими подругами и хозяином. Я переоделся так, чтоб иметь возможность говорить с ней; а чтоб привлечь ее внимание, я продаю миног.

α. Если ты дашь мне мину, я велю схватить твою подружку с тобою, когда она купит твою рыбу, и я притворюсь, что доношу властям на вас обоих: на тебя, как на продавщицу, на нее, как на покупщицу. Потом я запру вас вместе у себя, и вы будете до зари хохотать над жадным торговцем. — Рабы, отдайте этой женщине ее платье — ведь это женщина (разве вы не видали?), и ее миноги не настоящие миноги, клянусь Гермесом; это очень большие блестящие угри (не могли вы мне этого сказать?). — Ступай, дерзкая, назад к своему лотку и берегись, не продавай ничего больше, потому что я тебя еще подозреваю. — Вот идет девушка; клянусь Афродитой, ее талия стройна и гибка; у меня будет мина, да, пожалуй, если напугать этого юнца, —и пол-ложа.

МИМ III: ДЕРЕВЯННАЯ ЛАСТОЧКА

Открой нам! дитя, дитя, открой нам! Это дети деревянной ласточки. Сама она крашеная, головка у ней красная, а крылья голубые. Мы знаем, что настоящие ласточки не такие; вон одна, как раз, клянемся Филомелой, мчится стрелою по небу; но наша из дерева. Дитя! открой нам, открой нам! дитя!

Нас здесь десять, двадцать, тридцать, мы несем крашеную ласточку, чтоб возвестить вам возвращенье весны. Еще нет цветов, но вот возьмите эти белые и розовые ветки. Мы знаем, вы варите желудок с начинкой, дичь в меду; а ваша рабыня купила вчера соней, чтоб сварить их в сахаре. Пируйте себе; мы просим немногого. Жареных орехов! жареных орехов! Дитя, дай нам орехов! дай нам орехов, дитя!

У ласточки голова красная, словно утренняя заря, а крылья голубые, словно чистое небо. Радуйтесь! Под портиками станет прохладно и деревья живописно раскинут свою тень на зеленые лужайки. Наша ласточка обещает вам много вина и масла. Налейте прошлогоднее масло в наши кувшины и вино в наши амфоры; слышишь, дитя, — ласточка говорит, что хочет попробовать его! Налей же вина и масла для нашей деревянной ласточки!

Когда-то, когда вы были детьми, вы, может быть, тоже несли ласточку, как мы. Она говорит своими знаками, что помнит об этом. Не заставляйте нас стоять у ваших дверей до вечерних факелов. Дайте нам плодов и сыра. Если вы будете щедры, мы пойдем к соседнему дому, где живет скупец с красными бровями. Ласточка попросит у него жаркого из зайца, что у него на столе, его золоченого пирога, его жареных дроздов, а мы попросим его бросить нам денег.

Он подымет брови и замотает головой.

Мы научим нашу ласточку одной песенке, которая вас рассмешит. Она разнесет по городу историю о жене скупца с красными бровями.



МИМ IV: ХАРЧЕВНЯ

Харчевня, полная клопов! Поэт, искусанный до крови, шлет тебе свой привет. Не в благодарность за то, что ты приютила его на одну ночь в стороне у темной дороги; дорога грязна, как та, что ведет в Ад, — а твои кровати поломаны, твои светильники коптят; твое масло прогоркло, твои лепешки заплесневели, в твоих пустых орехах еще с прошлой осени завелись беленькие черви. Нет, он признателен свиноторговцам, что шли из Мегары в Афины и чья икота помешала ему спать (твои перегородки тонки, харчевня); благословляет он и твоих клопов, что, точа всю ночь его тело и ползая жадными полчищами по подушке, не давали ему заснуть.

От бессонницы захотелось ему полюбоваться белым сияньем луны сквозь широкую щель в стене, и вот он увидел торговца женщинами, который поздно ночью стучал в дверь. Торговец кричал: «Дитя! дитя!», но рабыня храпела, лежа на животе и заткнув себе уши одеялом. Тогда поэт накинул на себя желтое платье, цвета свадебного покрывала. Это платье, выкрашенное шафраном, оставила ему одна веселая девушка, когда однажды утром убежала от него, закутанная в плащ другого любовника. Так, похожий на служанку, поэт открыл двери; торговец вошел, ведя за собою большую толпу женщин. У последней девушки были груди крепкие, как айва; цена ей была по крайней мере двадцать мин.

— Служанка, — сказала она, — я устала; где кровать для меня?

— О дорогая госпожа моя, — сказал поэт, — ты видишь, подруги твои заняли все кровати харчевни; кроме постели твоей служанки, ничего больше не осталось; если тебе угодно лечь на ней, она к твоим услугам.

Негодяй, что кормил всех этих свежих, молодых девушек, осветил лицо поэта толстым фитилем светильника, покрытым нагаром и, увидев служанку, ни слишком кра-



сивую, ни слишком опрятную, не сказал ничего.

Харчевня, харчевня, — поэт, искусанный до крови, благодарит тебя. Женщина, что спала эту ночь со служанкой, была мягче, чем гусиный пух, и шея ее благоухала, словно зрелый плод. Но все это, харчевня, осталось бы тайной, если б не скрипучая болтовня твоей кровати. Поэт боится, будто мегарские поросята узнали, благодаря ей, о его приключеньи.

Вы, что слышите сии стихи, если «кви, кви» маленьких поросят на афинской площади станут рассказывать вам сплетни, будто поэт наш предается низким любовным удовольствиям, приходите в харчевню посмотреть на подругу с грудями, твердыми, как айва, которой он сумел завладеть, искусанный благодатными клопами, в лунную ночь.

МИМ V: КРАШЕНЫЕ СМОКВЫ

Этот кувшин, полный молока, я принесу в жертву маленькой богине моей смоковницы. Каждое утро я буду наливать свежего молока и, если угодно будет богине, я наполню кувшин медом или не смешанным с водою вином. Так буду я чтить ее с весны до осени; если буря разобьет кувшин, я куплю другой на горшечном рынке, хотя глина дорога в нынешнем году.

Взамен я прошу маленькую богиню, хранительницу моей смоковницы, переменить цвет ее смокв. Они были белые, вкусные и сахаристые; но они надоели Иолее. Теперь она хочет красных смокв и уверяет, что они лучше.

Совершенно неестественно, чтоб на смоковнице с белыми смоквами росли осенью красные смоквы; однако Иолея этого хочет. Если я был благочестив перед богами моего сада; если я сплетал им венки из фиалок и наливал полные кружки вина и молока; если я стряхивал для них мак среди кружащихся темными тучами мошек в час, когда солнце зажигает гребень моих стен; если своей верой я заслужил их дружбу, — сделай, о богиня, чтоб твоя смоковница расцвела и дала красные смоквы.

Если ты не послушаешь меня, я не перестану чтить тебя свежими кувшинами; но когда начнут появляться плоды, я принужден буду вставать на рассвете, чтоб незаметно вскрывать все новые смоквы и красить их внутри хорошим тирским пурпуром.

МИМ VI: УВЕНЧАННЫЙ КУВШИН

Я горшечник; вывертев дно кувшина и вылепив ему пузо из золотистой глины, я наполнил его плодами для бога садов. Но он загляделся на дрожащую листву, боясь, чтобы воры не пробили стены. Ночью сони украдкой всунули рыльца свои в яблоки и изгрызли их до самых семян. Робкие, они в четвертом часу махали своими пушистыми хвостами, белыми и черными. На рассвете птицы Афродиты взмостились на фиолетовые края моего глиняного горшка, топорща переливчатые перья своих шеек. В трепетный полдень молодая девушка подошла одна к богу с венками из гиацинтов. И, заметив меня, склонившегося из-за бука, она, не глядя на меня, увенчала кувшин пустой, без плодов. Пусть сердится бог, лишенный цветов, пусть яблоки мои грызут сони, пусть птицы Афродиты склоняют друг к другу свои нежные головки! Я вплел в свои волосы свежие гиацинты и до следующего полудня буду ждать венчательницу кувшинов.

МИМ VII: ПЕРЕОДЕТЫЙ РАБ

О, Манния, приди, накажи этого наглеца хорошим пафлогонским бичом. Я купил его за десять мин у финикийских купцов, и он не голодал у меня. Пусть он скажет, давали ли ему повара маслины и соленую рыбу. Он набил себе брюхо жареными желудками с начинкой, угрями из копаисского озера, жирными сырами, на которых был еще след ивовой плетенки. Он распивал несмешанное вино, что я бережно хранил в пахучих козьих мехах. Он опорожнил мои склянки с сирийским бальзамом, и его туника стала фиолетовой от пурпура: никогда стиральщицы не мочили ее в чанах. Его волосы разбросаны, будто пучки золотых ниток; цирюльник не касался их своими ножницами. Мои женщины каждый день выдергивают волоски с его тела, и красный язык лампы лижет его кожу. Его чресла белее, чем моя шее или круп львиц из слоновой кости на рукоятках ножей.

Клянусь своей душою, он в один вечер выпил столько вина из моих кратеров, сколько тесмофорийские посвященные в течение трех дней мистерий. Я думал, что он храпит, растянувшись где-нибудь возле кухонь, и хотел уж попросить толкачей потереть ему в наказание губы пестом; расплатился бы он за свое пьянство едким вкусом тертого чеснока. Но я нашел его шатающимся, с посоловелыми глазами, с моим серебряным зеркалом в руке; и этот трижды нечистый, украв из моей шкатулки с драгоценностями одного из моих золотых кузнечиков, вколол его себе в курчавые волосы. Потом, стоя на одной ноге, одолеваемый винными парами, он стал обвивать себе бедра кисейным покрывалом, которое я, обыкновенно, одеваю под белую шерстяную тунику, когда хожу с подругами смотреть на праздник Адониса.

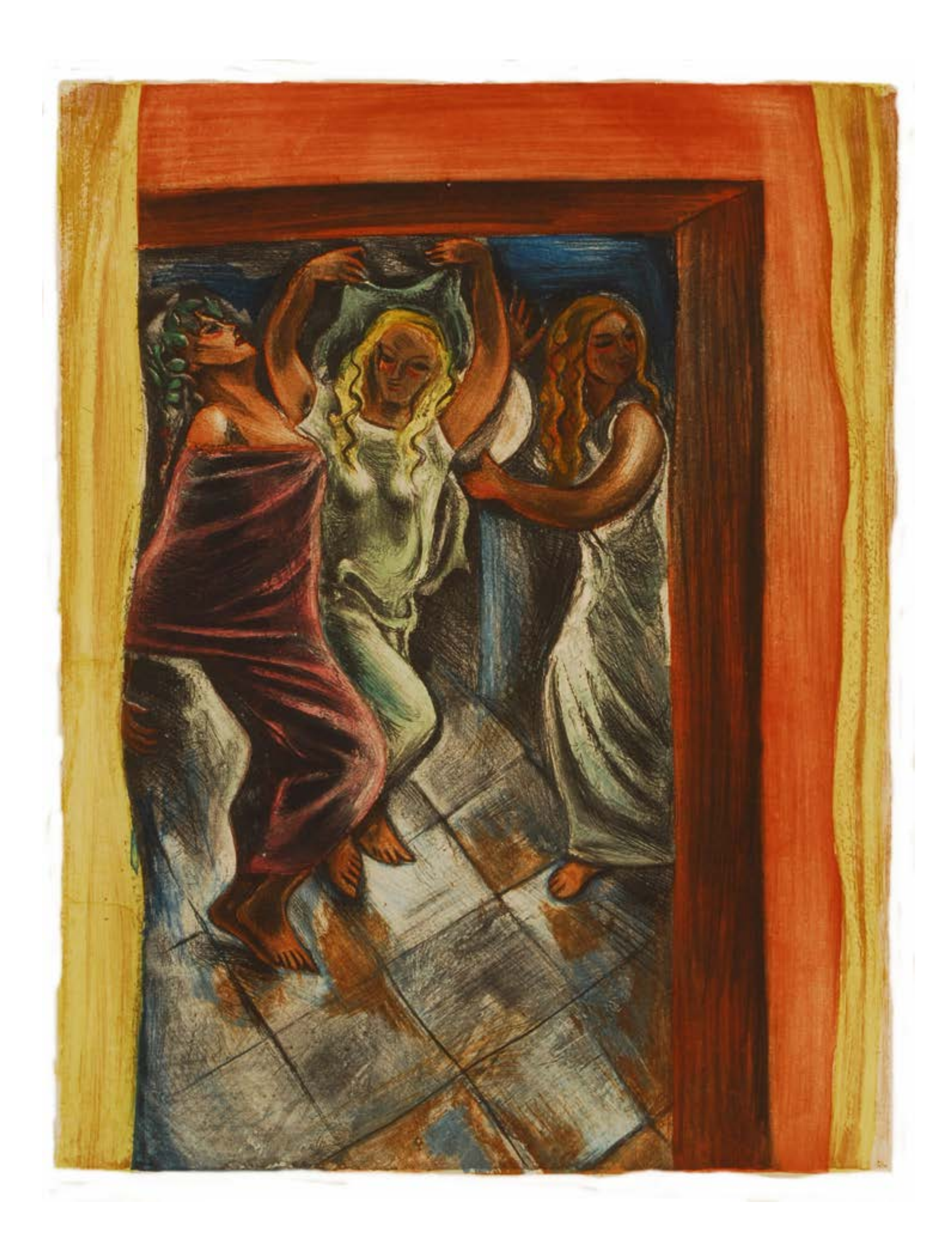
МИМ VIII: ВЕЧЕР НОВОБРАЧНЫХ

Чистым и светлым маслом горит светильник с новым фитилем против вечерней звезды. Порог усыпан розами, которых не унесли с собою дети. Танцовщицы колышут последними факелами, протягивающими в сумрак свои огненные персты. Маленький флейтщик выдул еще три пронзительных ноты из своей костяной флейты. Носильщики принесли ящики, полные прозрачных браслетов для ног. Один вымазал сажей лицо и спел мне шутливую песню своего дема. Две женщины в красных покрывалах улыбаются в тихих сумерках, натирая румянами руки.

Подымается вечерняя звезда и закрываются тяжелые цветы. У большого винного чана, покрытого резным камнем, уселся смехун-ребенок, светлые ножки которого обуты в золотые сандалии. Он отряхает сосновый факел — и алые пряди рассыпались во тьме. Уста его полуоткрыты, словно вскрывшийся плод. Он чихает влево и металл звенит у его ног. Я знаю, что в один прыжок он исчезнет.

Ио! Вот приближается желтое покрывало девы! Женщины под руку ведут ее.

Унесите факелы! Брачное ложе ждет ее, и я поведу ее к мягкому блеску пурпурных тканей. Ио! Погрузите в ароматное масло фитиль светильника. С тихим треском умирает огонь. Погасите факелы! О, невеста моя, к груди своей подымаю я тебя: пусть ноги твои не коснутся роз, что лежат на пороге.



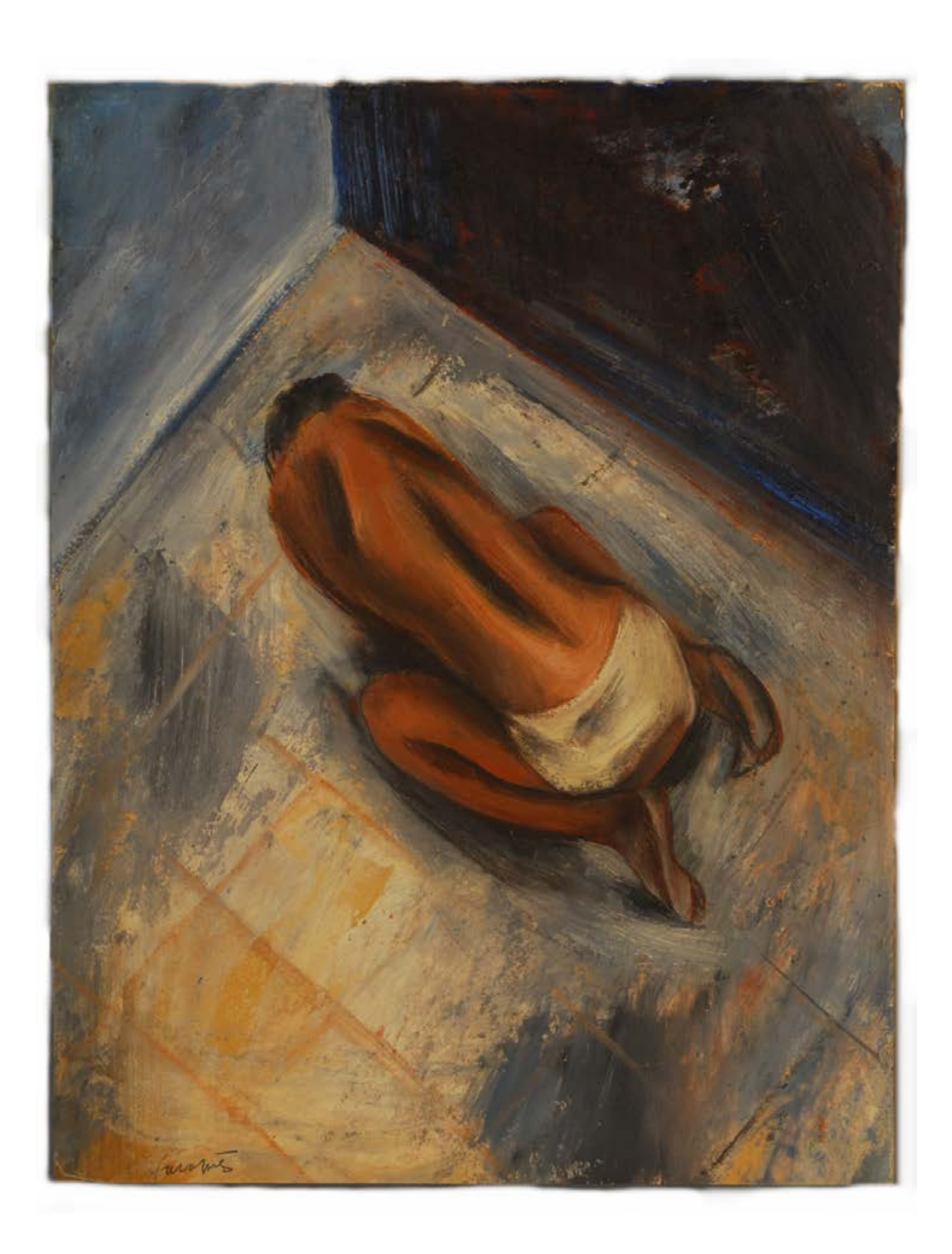
МИМ IX: ВЛЮБЛЕННАЯ

Я молю тех, что будут читать эти строки, разыскать моего жестокого раба. Он убежал из моего покоя после полуночи во втором часу.

Я купила его в вифинском городе, и он благоухал бальзамом своей страны. Его волосы были длинны, и сладки были губы его. Мы сели на судно, тонкое, как шелуха фасоли. И бородатые матросы запретили нам срезать волосы, боясь бури; они бросили в море пятнистую кошку при мерцающем свете новолуния. Маленькие плоты и холщовые паруса несли нас по черным волнам Понтийского моря до берегов Фракии, где морская пена окрашена в пурпур и шафран, когда восходит солнце. И мы тоже проплыли мимо Цикладских островов и прибыли на остров Родос. Недалеко от него мы вышли из нашей тонкой скорлупки на другой островок, имени которого я не назову никогда. Ибо пещеры там скрыты бурой травою и усеяны зеленым златохворостом, луга мягки, как молоко, и все ягоды на кустах, красны ли они, как капли крови, светлы ли, как хрусталь, или черны, как головы ласточек, полны восхитительно сладкого сока, оживляющего душу. Я буду молчать, как немая, об этом городе, словно посвященная в мистерии. Он полон блаженства; и никогда там не бывает теней. Я там целое лето любила. Осенью плоская лодка унесла нас в эти места. Мои дела были запущены, и я хотела достать денег, чтоб одеть его в тунику из тонкого виссона. Я подарила ему золотые браслеты и палочки из янтаря и камней, что блестят в полумраке.

О я, несчастная! Он встал с моего ложа, и я не знаю, где его найти. О женщины, что каждый год молитесь Адонису, не презирайте мольбы моей!

Если этот преступник попадется вам в руки, оплетите его железными цепями; сильнее сдавите путами его ноги; бросьте его в темницу, выложенную каменными плитами; велите его распять на кресте, и пусть палач согнет его го-



лову под ярмом; полными горстями сыпьте зерна вокруг холма пытки, чтоб коршуны и вороны скорее летели к его телу. Или лучше (потому что я не доверяю вам и знаю, что вам станет жалко его гладкой кожи) не трогайте его даже нежными кончиками ваших пальцев. Поручите его вашим юным посланцам; пусть пришлют мне его они сейчас же; я сумею сама его наказать; и я накажу его жестоко. Клянусь гневными богами, я его люблю, я люблю его!

МИМ X: МОРЯК

Если вы не верите, что я работал тяжелыми веслами, посмотрите на мои пальцы и колени; вы их увидите стертыми, как старые снасти. Я знаком с каждой травкой морской равнины, что иногда бывает фиолетовая, а иногда синяя, и я хорошо знаю все крученые раковины. Среди тех трав есть и такие, что одарены нашею жизнью: глаза у них прозрачны, как студень, тело похоже на свиное вымя, и множество щупальцев, которые в то же время и рты. А среди дырявых раковин я видал такие, что были просверлены больше тысячи раз, и сквозь каждое маленькое отверстие высовывались и всовывались назад ножки из плоти, на которых ходила раковина.

За Геркулесовыми столпами окружающий землю Океан становится незнакомым и яростным.

И в теченьи своем он творит темные острова, где живут другие люди и чудесные звери. Там есть змей с золотой бородой, что мудро правит своим царством; а у женщин той страны на кончике каждого пальца глаз. У других клювы и хохлы, как у птиц; в остальном же они похожи на нас. На одном острове, где я был, у жителей головы находились там, где у нас желудок; и когда они приветствовали нас, они сгибали свои животы. О циклопах, пигмеях и великанах я и говорить не стану, потому что число их слишком велико.

Ничто из всего этого не кажется мне чудом; я не испытываю никакого страха перед этим. Но вот раз вечером я увидел Сциллу. Наше судно коснулось песка сицилийского берега. Поворачивая руль, я увидел в воде женскую голову с закрытыми глазами. Волосы ее были золотого цвета. Она, казалось, спала. И я задрожал; я боялся увидеть ее зрачки, хорошо зная, что если я буду смотреть в них, я направлю нос нашего судна в морскую пучину.



МИМ XI: ШЕСТЬ НОТ ФЛЕЙТЫ

Средь тучных сицилийских пастбищ, неподалеку от моря, есть лес сладких миндалей. Там стоит старинная скамья из черного камня, на которую садились пастухи с давних времен. На ветвях соседних деревьев висят плетеные клетки из тонкого камыша для кузнечиков и корзинки из зеленой ивы, что служили для ловли рыбы. Та, что спит, сидя на скамье из черного камня с обвитыми повязками ногами, с головой, скрытой под остроконечной шляпой из рыжей соломы, ждет пастуха, что никогда не вернется. Он ушел, смазав руки ярым воском, чтобы срезать тростник в болотистой чаще: он хотел сделать семиствольную флейту, как учил бог Пан. И когда прошло семь часов, первая нота раздалась у скамьи из черного камня, на которой бодрствовала та, что спит сегодня. И та нота была близка, ясна и сребриста. Потом семь часов пронеслись над синевшим в лучах солнца лугом, и вторая нота зазвучала радостно и золотисто. И все семь часов та, что спит теперь, слышала, как поет один из стволов новой флейты. Третий звук был далек и суров, будто рокот железа. А четвертая нота была еще дальше и гулко звенела, точно медь. Пятая была тревожна и коротка, подобно удару в оловянный сосуд. А шестая была глухая и сдавленная, и звучала точь-в-точь, как свинцовые грузила, столкнувшись друг с дружкой.

И вот та, что спит теперь, ждала седьмой ноты, что не прозвучала вовсе. Дни окутали миндальную рощу своим белым туманом, сумерки своим серым туманом, а ночи туманом пурпурным и синим. Быть может, пастух ждет седьмой ноты у края светлой трясины, в надвигающейся тени вечеров и годов.

И, сидя на скамье из черного камня, та, что ждала пастуха, задремала.

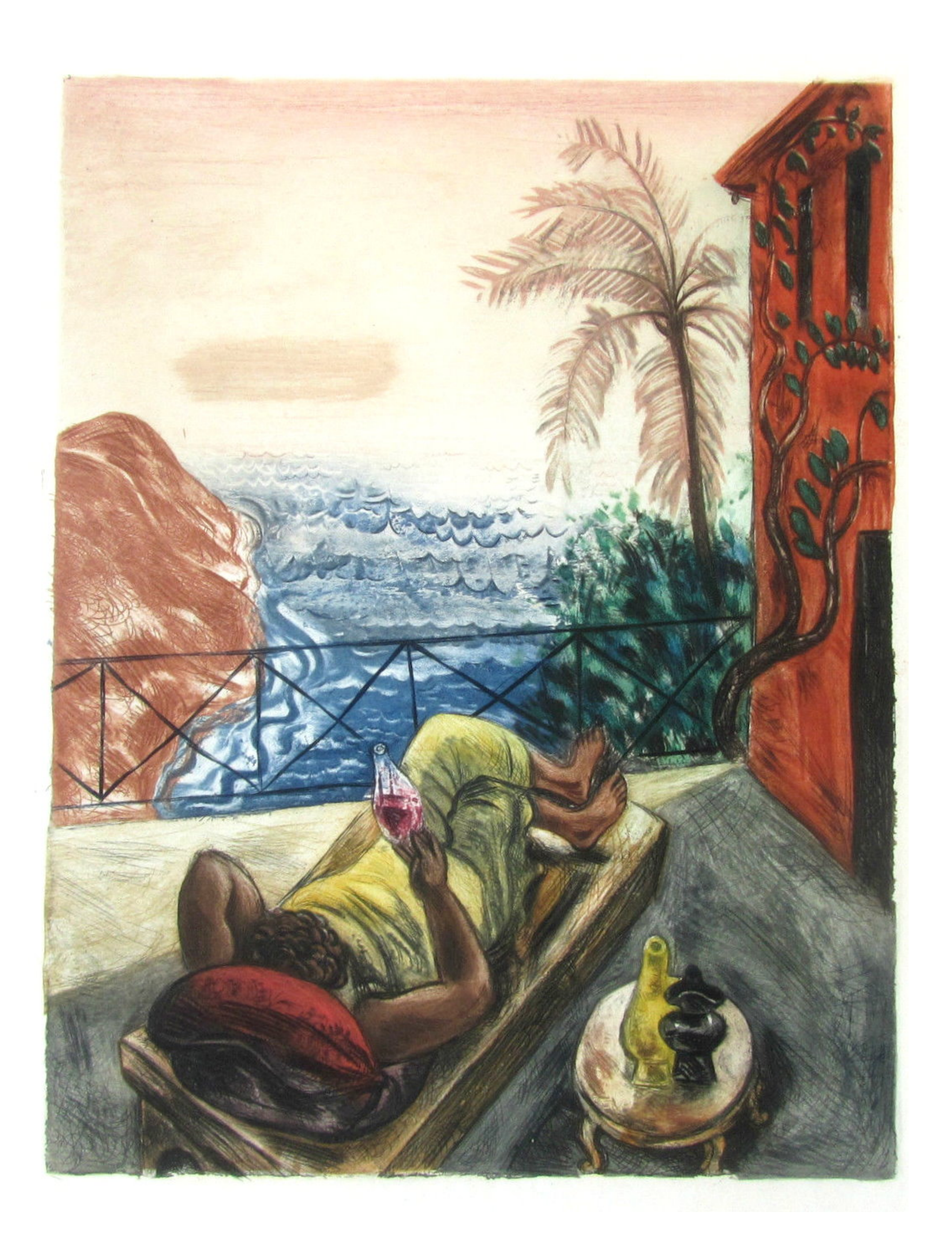
МИМ XII: САМОССКОЕ ВИНО

Тиран Поликрат повелел принести себе три запечатанных фиала, содержащих превосходные вина трех разных сортов. Раб взял фиал из черного камня, фиал из желтого золота и фиал из прозрачного светлого стекла; но забывчивый виночерпий налил в три фиала одно и то же самосское вино.

Поликрат посмотрел на фиал из черного камня и повел бровями. Он сломал гипсовую печать и понюхал вино. «Фиал, — сказал он, — сделан из низкого вещества, и запах его содержимого не очень привлекателен».

Он поднял фиал из желтого золота и любовался им. Потом, распечатав, сказал: «Это вино, без сомненья, ниже своей оболочки — прекрасной, богатой, полной сияющих лоз и алых виноградных кистей».

Взяв третий фиал из прозрачного чистого стекла, он поднял его против солнца. Кровавое вино заискрилось. Поликрат разбил печать, вылил в свой кубок вино из фиала и одним духом выпил его. «Это, — сказал он со вздохом, — лучшее вино из тех, какие я когда-либо пил». Потом, ставя назад кубок на стол, он толкнул фиал, который упал и разбился в куски.



МИМ XIII: ТРИ БЕГА

Со смоковниц упали смоквы и с масличных деревьев маслины; ибо странное зрелище видел остров Скира. Молодая дева бежала, юноша гнался за нею. Она приподняла полу своей туники, из-под которой виднелись края ее легких одеяний. Серебряное зеркальце выпало у нее на бегу. Юноша поднял зеркальце и стал глядеться в него; он залюбовался глазами своими, полными мудрости, полюбил разум, светившийся в них и, перестав преследовать деву, сел на песке. Юная дева снова стала бежать, и зрелый муж гнался за нею. Она подняла полу своей туники, икры ее были словно румяный, мясистый плод. На бегу золотое яблоко скатилось с лона ее. Тот, что гнался за нею, поднял яблоко, насладился им, перестал преследовать деву и сел на песке. А юная дева снова бежала, но медленней был ее бег. Ибо гнался за нею старец, шатаясь. Она спустила тунику и голени ее были обвиты камчатною тканью. Но во время бега с нею случилось нечто странное: одна за другой отпали груди ее и упали на землю, будто зрелые плоды. И старик стал сосать обе груди; а юная дева испустила вопль ужаса и тоски и бросилась в реку, что течет по острову Скире.

МИМ XIV: ЗОНТИК ТАНАГРЫ

Так, растянутым на лепных прутьях, сплетенным из желтой соломы или сотканным из земляных тканей, покрасневших на огне, держит меня позади и против солнца юная дева с прекрасными грудями. Другой рукой она приподнимает тунику из белой шерсти, и над персидскими сандалиями видны ножки, созданные для янтарных браслетов. Волосы ее волнисты, длинная булавка пронизывает их под затылком. Повернув голову, она выдает свой страх перед солнцем и кажется, будто Афродита сошла на землю и склоняет свою нежную шею.

Такова моя госпожа; раньше мы блуждали по лугам, усеянным гиацинтами, у нее было тогда розовое тело, а я был из желтой соломы. Белые лучи солнца целовали меня снаружи, а под сводом моим целовало меня благоуханье девичьих волос. Богиня, что меняет формы, выслушала меня — и, подобный водяной ласточке, падающей с распростертыми крыльями на траву, выросшую в середине пруда, чтоб ласкать ее своим клювом, я тихо спустился на ее головку; я потерял тростник, что держал меня в воздухе далеко от нее, и стал ее шляпой, покрывавшей голову трепетной кровлей.

Но в предместье горшечник, что лепит также и девушек, попросил нас обождать и быстро пальцами своими вылепил глиняную фигурку. Работник над грубыми формами, он выразил нас на своем глиняном языке; и, право, он сумел тонко сплести меня и мягко сложить складки белой шерстяной туники и волнисто разлить волосы моей госпожи; но, не понимая желаний предметов, он жестоко разлучил меня с головой мною любимой. И снова, став зонтиком в моей второй жизни, я качаюсь далеко от шейки моей госпожи.

МИМ XV: КИННЕ

Этот жертвенник я посвящаю памяти Кинне. Здесь, у черных утесов, где с рокотом пенится море, мы бродили вместе. Знают это и изборожденный берег, и лесные рябины, и прибрежный тростник, и желтые головки морских маков. Руки ее были полны зубчатых раковин, а поцелуями я наполнял трепетные раковины ее ушей. Она смеялась над хохлатыми птичками, которые громоздились на водорослях и качали хвостами. В очах ее я видел полосу белого света, что стелется на рубеже темной земли и синего моря. Ножки ее были мокры и морские зверьки прыгали по шерстяной тунике.

Мы любили сиянье вечерней звезды и влажный серп луны. Ветер, несущийся по Океану, приносил нам пряный аромат далеких стран. Наши губы были белы от соли, и мы смотрели, как прозрачные и мягкие существа светились сквозь воду, будто живые лампадки. Дыханье Афродиты окружало нас.

И я не знаю, почему Добрая Богиня усыпила Кинне. Она упала на песок среди желтых маков при розовом свете утренней звезды. Из уст ее текла кровь, и сиянье очей ее погасло. Меж век ее я увидел длинную черную черту, лежащую на рубеже между теми, что радостно веселятся на солнце, и теми, что плачут у глубоких, темных топей. Теперь Кинне одиноко бродит у берегов подземных вод, раковины ушей ее звучат глухим гулом летающих теней, на побережье ада колышутся черные головки печальных маков, а звезда темного неба Персефоны не знает ни вечера, ни утренней зари; и она подобна увядшему цветку асфодели.

МИМ XVI: СИСМЕ

Ту, что ты видишь здесь высохшей, звали Сисме, дочь Фратта. Средь пчел и овец жила она сначала; потом она вкусила морской соли; потом один купец увез ее в белые сирийские дома. Теперь она сжата, будто драгоценная статуэтка, в каменной коробке. Сочти кольца, блистающие на ее пальцах: столько лет ей было. Взгляни на повязку, обвивающую ее чело: сюда робко приняла она первый поцелуй любви. Коснись звезды из бледных рубинов, дремлющей там, где были ее груди: здесь покоилась дорогая голова. Возле Сисме положили ее потускневшее зеркало, серебряные косточки и большие янтарные булавки, которые она вкалывала в волосы; так в двадцать лет (ведь двадцать колец на руках) она была осыпана сокровищами. Богатый сиффет подарил ей все, чего женщины могут желать. Сисме не забыла об этом, и ее маленькие белые кости не отталкивают драгоценностей. Да, сиффет воздвиг ей этот роскошный мавзолей, чтоб хранить ее нежную смерть, и окружил его ароматными вазами и золотыми слезными урнами. Сисме благодарит его. Но ты, если ты хочешь знать тайну бальзамированного сердца, разожми суставы пальцев левой руки: ты увидишь простое стеклянное колечко. Это колечко было прозрачно; оно стало дымчатым и темным от времени. Сисме любит его. Молчи и пойми.



МИМ XVII: ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ

В гроб Лизандра я положил зеленую плетенку, красную лампу и серебряный кубок.

Зеленая плетенка будет недолго (одна осень ее уничтожит) напоминать ему о нашей дружбе, о мягкой траве наших пастбищ, о дугообразных спинах пасущихся овец и прохладной тени, в которой мы засыпали. И он вспомнит пищу земную и зиму, когда собирают запасы в амфоры.

Красная лампа украшена нашими женщинами; они взялись за руки и пляшут, переплетая свои ноги. Испарится ароматное масло, и глина, из которой сделана лампа, рассыпется с годами. Так Лизандр не тотчас забудет в подземной жизни счастливые ночи и негу белых тел, освещенных той лампой; она служила еще для того, чтоб своим алым языком выжигать волоски с рук и бедер для большей услады осязанья и взора.

Серебряный кубок увенчан золотыми лозами и кистями винограда; ошалелый бог на нем машет своим тирсом и кажется, будто еще трепещут ноздри Силенова осла. Он бывал полон вина, кислого, чистого и смешанного с водою; вина хиосского, с запахом козьих шкур, и вина эгинского, охлажденного в глиняных сосудах, висящих на ветру. Лизандр пил из него на пирах, где он читал стихи, и дух вина вселял в него демона поэзии и забвенье всех земных дел и вещей. Так внешняя форма демона будет жить еще с ним; и когда плетенка сгниет и рассыпется лампа, серебро еще останется целым в его могиле. Да сможет он часто опоражнивать сей кубок, полный забвенья, в память лучших минут, проведенных меж нами!

МИМ XVIII: ГЕРМЕС ПСИХАГОГ

Лежат ли мертвые в саркофагах из резного камня, заключены ль они в урнах из метала иль глины, или стоят позолоченные и выкрашенные в синее, без внутренностей и без мозга, обвитые льняною тесьмою, — я увожу их толпою и направляю их шаги моим руководящим жезлом.

Мы идем по крутой тропинке, которой люди не могут видеть. Куртизанки прижимаются к девам, убийцы к философам, матери к тем, что не захотели рожать, жрецы к клятвопреступникам. Ибо они раскаиваются в своих преступлениях, выдумали ли они их в своих головах или совершили своими руками. И так как они вовсе не были свободны на земле, — связанные законами, обычаями или собственными воспоминаньями, — они страшатся одиночества и держатся друг за друга. Та, что нагая спала средь мужчин в устланных плитами палатах, утешает юную деву, что умерла накануне своей свадьбы и величаво мечтала о любви. Тот, что убивал на большой дороге, вымазав себе лицо пеплом и сажей, проводит рукой по челу мыслителя, хотевшого возродить мир и проповедовавшего смерть. Мать, что любила детей своих и страдала за них, прячет голову на груди гетеры, по своей воле бесплодной. Муж, одетый в длинное платье, убедивший себя, что верит в своего бога и истязавший себя коленопреклоненьем, плачет на плече циника, нарушившего все клятвы плоти и духа на глазах граждан. Так помогают они друг другу на своем пути, бредя под игом воспоминаний.

Потом приходят они к берегу Леты, и я расставляю их вдоль реки, что течет в тишине. И одни погружают в нее головы, полные дурных мыслей, другие омывают в ней руки, что сделали зло. Они подымаются и вода Леты уничтожила их воспоминанья. Тогда они расходятся, и каждый улыбается про себя, думая, что он свободен.

МИМ XIX: ЗЕРКАЛО, ИГЛА, МАК

Зеркало говорит:

Меня отделал из серебра искусный работник. Сначала я было полое, как его ладонь, а с другой стороны походило на тусклый глаз. Но потом я получило кривизну, необходимую для отраженья. Наконец Афина вдохнула мудрость в меня. Я знаю, чего так страстно желает юная дева, что держит меня, и я заранее ей отвечаю, что она прекрасна. И все же она встает ночью и зажигает свой светильник из бронзы. Она приближает ко мне золотистые космы огня, и сердце ее хочет другого лица, не ее. Я показало ей ее белое чело, ее точеные щеки, ее полные груди и глаза, горящие любопытством. Она почти что целует меня своими устами, но золотой огонь освещает только ее лицо, и темно во мне все остальное.

Золотая игла говорит:

После того, как черный раб украл меня у тирийца и я бесславно пронзала виссон, меня схватила благоухающая гетера. Она воткнула меня в свои волосы, и я колола пальцы неосторожных. Афродита научила меня и страстью отточила мое острие. Наконец я попала в прическу этой юной девы, и от моего прикосновенья затрепетали ее ленты. Она вскочила подо мной, будто обезумевшая телка, и она не видит причины своей беды. Все четыре четверти ночи я волную ее мысли, и сердце ее им покорно.

В тревожном свете лампы пляшут тени и сгибают свои крылатые руки. Она заметила толпу быстротечных беспорядочных видений и бросается к зеркалу. Но оно показало ей лишь лицо, томимое страстью.

Головка мака говорит:

Я росла на подземных полях средь цветов, цвета которых не знает никто. Я знаю все оттенки темноты; я видела сияющие во мраке цветы. Персефона положила меня на лоно свое, и я уснула на нем. Когда игла Афродиты пронзает страстью юную деву, я являю перед нею виденья, что

блуждают в вечной ночи. Это прекрасные юноши, полные прелестей, которых нет уже больше. Афродита умеет внушать страсти смертным, а Афина — показывать им бесплодность их грез; но Персефона хранит таинственные ключи к вратам роговым и вратам из слоновой кости. Через первые она посылает в ночь тени, что чаруют и манят людей; Афродита завладевает ими, а Афина их убивает. Но чрез вторые врата Добрая Богиня принимает тех, что хотят отдохнуть от Афродиты и от Афины.

МИМ XX: АКМЕ

Акме умерла в то время, как я еще прижимал к своим устам ее руки; нас окружили плакальщицы. Холод объял ее члены, они стали бледные и ледяные. Потом он поднялся к ее сердцу, и оно перестало биться, подобно окровавленной птичке, которую находят распростертой, с лапками, прижатыми к брюшку, в морозное утро. Потом холод коснулся ее уст, и они стали точно темный пурпур.

И плакальщицы натерли ее тело сирийским бальзамом и обвили тесьмою ее ноги и руки, чтоб возложить ее на костер. Красное пламя страстно метнулось к ней, будто грозно-прекрасная любовница знойных летних ночей, чтоб пожрать ее своими чернящими поцелуями.

И угрюмые люди, что свершают этот обряд, принесли ко мне две серебряных урны, в которых хранился пепел Акме.

Адонис умер трижды, и трижды женщины рыдали, стенали на кровлях. И в этот третий год, в ночь годовщины, я видел сон.

Мне чудилось, будто милая Акме появилась у моего изголовья, прижимая к груди своей левую руку. Она пришла из царства теней: ибо тело ее было странно прозрачно, кроме места, где находится сердце и где лежала ее рука.

Тогда горе разбудило меня, и я рыдал, как женщины, что оплакивали Адониса.

И горькие сонные маки усыпили снова меня. И снова чудилось мне, будто милая Акме у ложа стоит и руку к сердцу прижала.

Тогда я опять зарыдал и молил жестокого стража грез удержать ее.

Но она пришла в третий раз и кивнула мне головою.

И не знаю, какою дорогой она меня повела на луга страны мертвых, опоясанной водами Стикса, где квакают

черные лягушки. Там, усевшись на бугорке, она сняла левую руку с груди.

И стала тень Акме прозрачной, словно берилл, но в груди ее я увидел сердцеобразное алое пятно.

И без слов она меня умоляла взять ее кровавое сердце, чтоб без боли могла она бродить по маковым полям преисподней, что волнуются как сицилийские пшеничные поля.

Тогда я обнял ее, но рук моих коснулся лишь нежный и мягкий воздух и мне казалось, будто кровь течет в мое сердце; и тень Акме разлилась в пространстве.

Теперь я пишу эти строки, потому что сердце мое переполнилось сердцем Акме.



МИМ XXI: ЖЕЛАННАЯ ТЕНЬ

Маленькая хранительница храма Персефоны положила в корзинки медовые лепешки, обсыпанные маком. Она уже давно знает, что богиня их вовсе не пробует, потому что она следила за ней из-за пилястров. Добрая богиня всегда остается суровой и ест под землею. И если б она питалась нашей пищей, она предпочла бы хлеб, натертый чесноком, и кислое вино; ибо пчелы Аида делают мед, пахнущий миррой, и девы, что гуляют по фиолетовым подземным полям, постоянно колышут черные маки. Так хлеб теней испечен в меду, отдающем бальзамировкой, и зерна, которыми он обсыпан, рождают сон. Вот почему Гомер говорит, что мертвецы, которыми правил меч Одиссея, приходили толпою пить из четырехугольного оврага черную кровь агнцев. И только тогда мертвые пили кровь, чтоб попытаться ожить: но в другое время они кормятся погребальным медом и темными маками, и в жилах их течет вода Леты. Тени едят сон и пьют забвение.

Вот почему, а не почему-либо другому, люди приносят такие жертвы Персефоне; но она на них не обращает внимания, ибо она довольно напилась забвенья и сыта сном.

Маленькая хранительница храма Персефоны ждет одинокую тень, что придет, может быть, сегодня, может быть — завтра, может бьгть — никогда. Если тени сохранили любящее сердце, как юные девы земли, ту тень мрачные воды реки забвенья не могли заставить забыть, а печальные маки сонного поля — уснуть.

Но, верно, она хотела б забыть, как это желанье присуще и сердцам земным. Если так, она придет вечерней порою, когда на небо взойдет розовый месяц, и станет у корзин Персефоны. Она разделит с маленькой хранительницей храма медовые лепешки, посыпанные зернами мака, и в горсти своей принесет ей немного мрачной воды из Леты. Тень будет вкушать мак земной, а девушка напьется воды ада; потом они поцелуют друг друга в чело, и тень

будет счастливой средь теней, а девушка будет счастливой среди людей.



ЭПИЛОГ

Всю долгую ночь Дафнис и Хлоя бодрствовали, как совы, и наконец нашли Светлую Персефону.

Благой бог влюбленных послал раннюю смерть им, что подобны полным чистой веры детям. Он боялся зависти нимф или Пана или Зевса. Средь утреннего сна улетели их души; и они прибыли в царство Ада и белые перешли, не омочившись, адские болота, услышали лягушек, бежали от трекратного лая Цербера. Потом в скудном свете звездных сумерек две белые тени уселись на темном лугу и срывали желтый шафран и гиацинты, и Дафнис сплел для Хлои венок из асфоделей. Но они не ели синего лотоса, что растет на берегах Леты, и не пили воды, от которой теряется память. Хлоя не желала забвенья. И царица Персефона дала им ледяные сандалии с огненными подошвами, чтоб перейти пламенное теченье красных рек.

Но Хлоя скучала, несмотря на большие желтые, синие, бледные цветы подземных лугов. Над мрачной травою Хлоя видела только тяжелых ночных мотыльков, и на их крыльях были кровавые узоры. Дафнису приходилось ласкать только ночных зверьков, очи которых светились лунными отблесками и мех был мягок, как волоса летучей мыши. Хлое страшно было сов, что вопили в священных лесах. Дафнису было жалко белого света солнца. Они помнили все; они не омылись в водах Леты; они плакали о потерянной жизни и призывали суровую благость Персефоны.

Все сновиденья выходят из Эреба сквозь врата из слоновой кости и сон мертвых лишен грез. Погруженные в забвенье, с пустыми и легкими головами, они могли бы лишь грезить о смутных равнинах, окружающих Тартар, но Дафнис и Хлоя бесконечно страдали от того, что во сне не могли воплотить воспоминанья прошлой жизни.

Добрая Богиня их пожалела и велела Вожаку Душ их утешить.

В синюю ночь он незаметно вывел их вместе со Снами. И средь многоцветных существ, что скакали, летели, кричали, смеялись, рыдали, что проносятся под ресницами наших очей, прорвавшись сквозь бледные ворота Эреба, Дафнис и Хлоя, тесно прижавшись друг к дружке, вернулись на остров Лесбос.

Лазурен был сумрак, светлы деревья, рощи сияли. Месяц был точно золотое зеркало. Хлоя гляделась бы в него с ожерельем из звезд. Митилена высилась в дали, словно жемчужный замок. Белые ручьи протекали по лугу. Опрокинутые мраморные статуи пили росу. В траве искрились их желтые прически, повязанные витыми лентами. Воздух мерцал мутным светом.

—Увы! — воскликнула Хлоя, — где день? Неужели умерло солнце? Куда нам идти, мой Дафнис? Я не знаю дороги. Ах! нет больше нашей скотинки, Дафнис: она разбежалась после того, как ушли мы.

И Дафнис ответил:

—О Хлоя! Мы вернулись, чтоб блуждать, как те сны, что посещали наши зрачки, когда мы отдыхали на лугу или спали в стойлах. Наши головы пусты, точно зрелые маковые головки. Наши руки полны цветов вечной ночи. Твое дорогое чело венчают асфодели, и на груди твоей — желтый крокос, что растет на острове Блаженных. Быть может, лучше не вспоминать.

— Но вот я вспоминаю, мой Дафнис, — сказала Хлоя. — Дорога, что ведет к гроту нимф, идет вдоль этого луга. Я узнаю плоский камень, на котором мы сидели с тобой. Видишь тот лес, откуда выскочил волк, что нас так тогда испугал? Здесь ты сплел мне впервые клетку для кузнечиков. Там, на том кусте, ты словил для меня трескучего кузнечика и положил его в мои волосы, и там он пел без перерыва. Он был прелестней, чем золотые кузнечики древних афинян: он пел. Я б хотела достать еще одного.

И ответил Дафнис:

— Кузнечик стрекочет в полуденный час, когда ветер прячется промеж колосьев, когда зеленостанная цикута раскрывает свой белый зонт, чтобы укрыться в тени. Те-



перь они спят и я не смог бы их найти. Но взгляни, Хлоя, вот пещера бога Пана; и я вижу тот пруд, у которого вид твоего нагого тела смутил меня; а возле та роща, в которой первый твой поцелуй меня обезумил, куда я ходил подстерегать тебя зимою, когда я покрывал клеем силки для птиц, а ты в высоком покое укладывала плоды в большие амфоры.

О Хлоя, нет больше дома, и лес рябин, покинутый, стоит одиноко: не прилетают уж больше туда веселые корольки и пустошки, и Персефона погасила наши пылавшие души.

— Вот, — сказала Хлоя. — Я сняла только что с пурпурного цветка спящую пчелку. Я взглянула на нее: она бурая и безобразная, и мне не нравятся черные круги на ее брюшке. Когда-то я считала пчелу поцелуем крылатым. Я смочила свой палец в медовом соте, и улетучился весь аромат свежего меда. Я не люблю больше меда.

—Хлоя, поцелуй меня, — сказал Дафнис.

—Вот.

И две белые тени смутились и умолкли в тоске. В поцелуе их не было былого острого жала и дикого аромата; и как страсть к овцам, козам, кузнечикам, птицам угасала в их сердце, наслажденье от прикосновенья их тел не проникало их больше трепетом.

— О Хлоя, здесь в зеленых плетенках были у нас жирные сыры.

— Я почти не люблю уже сыра, мой Дафнис.

— О Хлоя, здесь срывали мы первые фиалки нашей последней весны.

— Я почти не люблю уж фиалок, мой Дафнис.

— О Хлоя, взгляни на ту рощу, где ты впервые поцеловала меня.

И Хлоя, отвернув голову, не ответила ничего.

Тогда в молчаньи прокляли они в сердце своем ночь, что, казалось, горечью облила все, что есть в мире. И без слов молили они Вожака Душ прийти и увести их обратно с легкими снами сквозь бледные врата Эреба на луга асфоделей, где у них оставалась нежная грусть воспоминаний.

Но Добрая Богиня не исполнила их мольбы.

Они стояли вдали друг от друга, склонившись над статуями, что лежали на земле

Когда синяя ночь озолотилась на востоке, они услышали плеск весел у берегов. Они подняли головы, зная, что увидят сейчас пиратов-матросов, что грабят все на лесбосских берегах и звучными голосами кричат при каждом ударе весел: руп-па-пай.

Однако, хоть легкий туман был прозрачен, они не увидели судна. Но раздалось громкое эхо, от которого пена затрепетала на песчаном берегу:

— Умер Великий Пан! Умер Великий Пан! Умер Великий Пан!

Тогда развалился жемчужный город Митилена, и все изваяния пали, и остров стал черным и выбежали маленькие духи источников, и крохотные божки вылетели из деревьев, из трав, из цветов, и тишина повисла над белыми мраморными глыбами.

Тени Дафниса и Хлои, внезапно состарившись, исчезли с рассветом; и Добрая Богиня, которая потеряла свою подземную мощь, взяла их с собой, убегая по лугам в неведомый край, куда удалились боги. Дыханьем своим она оплодотворила Лесбос и вернула земле Дафниса и Хлою. Ибо остров меж белых каналов, что его прорезают, покрылся их многократной душою: столько лавров и зеленеюших ив родилось из его погребенного сердца.

Примечания

Все тексты М. Швоба и Л. Троповского публикуются по изданию: *Швоб М. Лампа Психеи. СПб.: Ad Astra, 1910* с исправлением некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации.

В оформлении обложки использован рис. Э. Губера.

Крестовый поход детей

Предисловие Х. Л. Борхеса к «Крестовому походу детей» дано в пер. Б. Дубина.

На с. 36 – обложка первого книжного издания (1896) работы М. Делькура (Delcourt). На с. 40, 42, 48 – илл. Ж.-Г. Даланьеса (Dalagnes). На с. 54 – илл. В. Ясперс. На с. 64 – илл. Г. Фрониуса. На с. 67 – обложка испанского издания (Tusquets Editores, Barcelona, 1971).

Мимы

Впервые в *L'Écho de Paris,* 1891-1892. Это произведение Швоба было навеяно открытием мимов или мимиямбов Герода (Геронда) – древнегреческого поэта, жившего, вероятно, на о. Кос, о котором Швоб говорит в «Прологе». Фрагменты и почти полностью сохранившиеся мимы Герода были впервые опубликованы в 1891 г. Ф. Кеньоном с древнеегипетского папируса I в. н. э., хранящегося в Британском музее (существуют русские переводы Г. Церетели и Б. Горнунга). Нами добавлено отсутствующее в русском пер. посвящение А. Доде с отрывком из Песни I Катулла (пер. С. Шервинского).

На с. 69 – обложка первого книжного издания работы Ж. Вебера. Все остальные илл. работы Ж.-Г. Даланьеса взяты из французского библиофильского издания (Les Bibliophiles de l'Automobile-Club de France, s.l., 1933).